



рыцарь поэзии

ПАМЯТИ ГРИГОРИЯ ЛЕВИНА

РЫЦАРЬ ПОЭЗИИ

Памяти Григория Левина

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
Л 36

Составители *Е. Михайлова, А. Калмыкова*
Оформление и верстка *Е. Тихонов*

*Ученики Г.М. Левина приносят благодарность его семье,
без которой издание этой книги не осуществилось бы*

Л 36 Рыцарь поэзии. Памяти Григория Левина — М.: 2012. — 168 с. — Илл.
ISBN 978-5-903505-75-3

В книге собраны воспоминания участников и друзей литературного объединения «Магистраль» о Григории Михайловиче Левине — поэте, критике и бессменном руководителе «Магистрали» на протяжении почти полувека.

ISBN 978-5-903505-75-3

РЫЦАРЬ ПОЭЗИИ

Памяти Григория Левина



Волшебный Фонарь
Москва
2012

СОДЕРЖАНИЕ

СЕЯТЕЛЬ И ХРАНИТЕЛЬ

<i>Нина Бялосинская. НИ ЧАСА В ОТПУСКУ</i>	9
<i>Виктор Гиленко. БОДРСТВУЮЩИЙ</i>	12
<i>Инесса Миронер. ГРИГОРИЙ ЛЕВИН. Краткая биография</i>	15
<i>Наум Шварц. ОН ЗНАЛ, ДЛЯ ЧЕГО ЖИВЁТ</i>	18
<i>Михаил Садовский. МАГИСТРАЛЬ</i>	22
<i>Валентин Берестов. СТРАСТЬ К ПОЭЗИИ</i>	31
<i>Лев Болеславский. ЛАНДЫШИ В ПОДАРОК</i>	33
<i>Ольга Наровчатова. НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ</i>	36
<i>Леонид Жуховицкий. «НЕТ У ПОЭТА ОТЧЕСТВА»</i>	44
<i>Галина Осинина. ОН БЫЛ СРЕДИ НАС</i>	48
<i>Андрей Вознесенский. «ЖИЛ НА СВЕТЕ РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ»</i>	51
<i>Марк Богославский. «МЫ ВАМИ БУДЕМ». О книге стихов Г. Левина</i>	53
<i>Марина Коржель. ЕМУ ОБЯЗАНА</i>	57
<i>Наталья Генина. ДОМ ГРИГОРИЯ ЛЕВИНА</i>	59
<i>Евгений Арисенко. ПОСЛЕДНИЙ УРОК</i>	63
<i>Владимир Леонович. ИСПОЛНЕН ТРУД</i>	65

ЕГО ДЕРЖАВА

<i>Роман Левин. ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ «МАГИСТРАЛЬ» – МАГИСТРАЛЬ ПОЭТИЧЕСКОГО БУМА</i>	71
<i>Виктор Гиленко. НА МЁРЗЛОЙ ЗЕМЛЕ</i>	75
<i>Дина Терещенко. ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ</i>	78
<i>Лариса Миллер. ФОРТОЧКА, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ МЫ ДЫШАЛИ</i>	84
<i>Максим Гликин. СВОЯ МИССИЯ</i>	86
<i>Александр Аронов. МЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ СМЕШНЫМИ</i>	87
<i>Валерий Миляев. ОТ УЧИТЕЛЯ К УЧЕНИКУ</i>	89
<i>Елена Шувалова. ОН ОСТАВИЛ СИМФОНИЮ</i>	91
<i>Людмила Богуславская. БУДЕТ СДЕЛАНО!</i>	95
<i>Ной Рудой. КАКИМ ОН БЫЛ ВСЕГДА</i>	98
<i>Елена Похвиснева. ШКОЛА ЛЕВИНА</i>	99
<i>Сэда Вермишева. ОН БЫЛ ДУХОВНЫЙ ЧЕЛОВЕК</i>	102
<i>Нина Саницкая. А БЫЛО ТАК... Из дневниковых записей</i>	105
<i>С ВАШЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ</i>	108
<i>Валерий Краско. ПЛОТОК СВОБОДЫ</i>	110
<i>Владимир Леонович. МЫ И ОНИ</i>	114
<i>Алексей Смирнов. СОДРУЖЕСТВО, ОТКРЫТОЕ ДЛЯ ВСЕХ</i>	118

ДАТЬ СЕРДЦА

Стихи, посвящённые Григорию Левину

<i>Виктор Забелышинский.</i> «Как мало он издал своих стихов...»	124
<i>Александр Юдахин.</i> МАГИСТРАЛЕЦ	125
<i>Павел Хмара.</i> НЕМЕДЛЕННО ПРИНЯТЬ!	126
<i>Владимир Леванский, Владимир Леонович, Ян Гольцман.</i> СОNET-ПЕРЕКРЁСТИХ	127
<i>Ольга Наровчатова.</i> ВПЕЧАТЛЕНИЕ	128
<i>Вера Николаева.</i> «Где-то в высотном доме...»	129
<i>Елена Надеина.</i> ХРАМ	130
<i>Алексей Смирнов.</i> АВГУСТ	131
<i>Нина Бялосинская.</i> «Учусь у дудочки старинной...»	132
<i>Екатерина Михайлова.</i> «Каждый день – стихотворенье...» «Нам сражаться в жизни...»	133
<i>Виктор Гиленко.</i> ЛЕСНОЙ СУЧОК	134
<i>Владимир Бекетов.</i> «От семи до девяти...»	136
«Осень вязнет в мокрой глине...»	137
<i>Елена Похвиснева.</i> ПОЭТ	139
У ПАМЯТНИКА ЖЕРТВАМ ГЕНОЦИДА	140
<i>Николай Фомичёв.</i> АРИЙСКАЯ КУЛЬТУРА	141
<i>Людмила Зайвая.</i> «Написать бы о Бородине...»	142
<i>Яков Тверской.</i> «Дети сорок шестого...»	144
<i>Софья Петренко.</i> ТОПОЛЯ	145
<i>Сабина Забелышинская.</i> «Зачем в весне – рождение осени?...»	146
<i>Сэда Вермишева.</i> «Мне надоело...» «Мне нужно только быть...»	147
<i>Галина Осинина.</i> «Яблоня протягивает ветку...»	149
<i>Наум Шварц.</i> «Белый снег, надо мной закружи...»	150
<i>Наталья Никитина.</i> «Ты спаси меня от меня ...»	151
<i>Леонид Чекалкин.</i> «Запах моря, запах терпкой хвои...»	152
ОПЯТЬ МЕТЕЛЬ «Тревожное небо. Лиловый закат...»	153
<i>Виктор Гончаров.</i> ПАМЯТИ Г.М. ЛЕВИНА	155
<i>Юлия Резина.</i> «В ничтожности житейских бурь...»	156
<i>Марина Коржель.</i> «Звон цикады за оградой...»	157
<i>Нина Саницкая.</i> «Прощаемся и улетим...»	158
«Святое место не бывает пусто...»	159
<i>Елена Шувалова.</i> «Григорий Михайлович Левин...»	161
<i>Алла Калмыкова.</i> УЧИТЕЛЮ	162

**СЕЯТЕЛЬ
И ХРАНИТЕЛЬ**

Сеятель и хранитель

Слова поэта суть его дела. Однако то, что именно сделал Григорий Левин, отозвалось целой литературой современных ему писателей – друзей и учеников. Таков был нравственный авторитет этого человека – поэта и критика, педагога Божией милостью, страстно влюблённого в литературу и потому всегда готового сжечь собственную рукопись, если надо было отогреть чью-то душу, примерзшую к ребру. Он любил повторять эти слова. Он сжигал свое творческое время. Он был не из тех, кто напечатал больше, чем написал. Он трудился как сеятель и хранитель, как тот пахарь, что работу затеял не по силам... Увы, и его не миновала потрава – доносы, разгон руководимой им студии, и ему ломала руки иродова власть, вытравляя эстетические и нравственные начала в народе, губельные для неё. Но «Зелёная лампа» его «Магистрали» вспыхивала снова, да и тьма держала свет подолгу... Так колокол держит убывающий звук. Так живёт в нас благодарная любовь к этому человеку.

От лица друзей – и здешних и рассыпанных по дальним и ближним зарубежьям – Николай Панченко, Булат Окуджава, Нина Бялосинская, Владимир Войнович, Фазиль Искандер...

Из некролога в «Литературной газете»

Нина Бялосинская

Ни часа в отпуску

ГРИША ЛЕВИН.

Проповедник с темпераментом пророка.

Может быть, он для того и родился 25 октября 1917 года, чтобы упрямо нести неизбывную радость, даже восторг, через кошмары доставшегося ему и нам времени, через беды и горести своей личной судьбы.

Чтобы стать живым свидетельством, увы, нередко уже механически повторяемых истин, что Дух Божий дышит где хочет и что Земля держится на нескольких праведниках.

Его «наивный» энтузиазм иным казался уже анахронизмом. Иных даже раздражал. Подползало время наёмников, не радеющих об овцах. Если вспомнить его позднее стихотворение с эпиграфом от Иоанна. Но тогда он ещё не замечал этого.

Как и мы. Многие, кто вернулся с войны не в ту страну, какой ожидали её обрести после полной, как казалось тогда, победы над фашизмом...

Может быть, странная смесь победной эйфории и растерянности — она-то, эта слабость, и позволила опутать нашу духовную жизнь колючей проволокой идеологических постановлений.

Я помню чуть ли не по датам, как оборвался двухлетний послевоенный пир поэзии. Опустели большие залы — Политехнического, университета, Колонный. Перестали выходить тоненькие книжечки с новыми именами на обложках. Увяли литературные студии «Молодой гвардии» и «Комсомольской правды». Неинтересно стало ходить в Дубовый зал Дома литераторов, куда раньше пускали и студентов-филологов...

И посреди этой пустыни Григорий Левин на площади Трёх вокзалов, которая всё ещё была Комсомольской, в стороне от «департамента литературы», в пределах клубного кружка сумел создать

такую среду обитания, атмосфера которой в самые чёрные дни сталинского террора помогла многим не просто выжить, но пережить, сохранить «огонь, мерцающий в сосуде» (стихи Заболоцкого мы знали и любили уже тогда).

«Наивный темперамент» и «наивное бесстрашие» Гриши подарили нам задолго до оттепели «непроходимых» поэтов. Многие помнят, что Бориса Слуцкого вывел к читателям своей статьёй о нём Илья Эренбург. Однако мало кто знает, что статью эту заказал ему Григорий Левин, случайно приглашённый в «Литературную газету» заменить заболевшего сотрудника, когда главный редактор был в отпуске. Но «Магистраль»-то знала стихи Слуцкого до этого. Как знала ещё тогда Давида Самойлова и Арсения Тарковского поэтами, а не переводчиками. Первыми узнавали мы новые стихи Сельвинского, Антокольского, Светлова, Хикмета. Они предпочитали «презентации», как теперь говорят, — у нас, а не в клубе писателей.

— Вы должны осознать себя направлением, — говорил Илья Львович Сельвинский.

Осознать себя направлением мы не могли. И по обстоятельствам места и времени. И потому, что были и остались все разными. И радовались своей разности. Были скорее слишком широкими, чем способными придумать узкий эстетический манифест.

Но мы были содружеством, компанией, делившей не только два вечера в неделю, но и жизнь, её радости, заблуждения и прозрения.

Неутомимый Гриша! Несовместимо было с ним название его первой книги — «День в отпуску». Да он часа не был в отпуску. Не знал ни минуты покоя. Спешил, доказывал, убеждал... Захлёбывался своим красноречием. Живой кровью своей питал каждое, даже обыденное слово.

Вечно хлопотал о ком-то. О книгах, публикациях — не своих, других. Его первая книга вышла после двадцати книг его учеников. Теперь у этих «учеников» — сотни книг. У него перед смертью вышла четвёртая.

Он был настойчив до настырности, протезируя другим. Никогда ни у кого ничего не просил для себя. Это была «старомодная» этика, не всем понятная теперь. Как, впрочем, и тогда.

Но он шёл по своей магистральной, не глядя на изменчивую погоду, оставаясь верным своим романтическим идеалам. И тогда,

Бодрствующий

ИМЯ «Григорий» означает по-гречески «бодрствующий». Надо ли объяснять всем, кто много лет знает Григория Михайловича, как это подходит к нему, человеку, в бодрости духа которого никто из нас никогда не сомневался? Примечательно и то, что камнем-талисманом родившихся в октябре служит опал, символизирующий верность и надежду. Надо ли объяснять, какую верность любимому делу, друзьям, ученикам сохранил Григорий Михайлович на всю жизнь?

Что было обручальным кольцом в его брачном союзе с поэзией, с литературой вообще, с жизнью как таковой? Он сам сказал об этом: «Катись же в руки мне, колечко чужой судьбы — родной судьбы». Человеческое сердце и огромный мир Г. Левин назвал «сообщающимися сосудами».

Я впервые увидел Левина в 1948 году. Мне, совсем ещё мальчику, прежде не приходилось видеть человека, так преданного поэзии, так безоглядно отдававшего себя ей и всем, кому она так же дорога.

«Стихами лгать нельзя и лгать нельзя в стихах... Всё, в чём солжешь, тебя же и предаст...» — написал Г. Левин. И дал себе зарок: «В малейшем помысле своём не погрешить притворством». У Левина есть отличные стихи, есть средние, есть и малоудачные, как у всякого пишущего человека. Но у него нет ни одной неискренней строки. «Каждый пишет, как он дышит», — поёт Булат Окуджава. О, если бы каждый!.. Но о Григории Левине это сказать можно. Его отношение к людям и миру — в стихах и в жизни — было равнозначным.

Ещё Иисус учил остерегаться тех, кто делает добро напоказ. Левин и добро — это синонимы. Он даже не думал о том, что совершает добро. Это просто был его образ жизни.

когда верил, что «без коммунизма нам не жить». И тогда, когда обратился к «Евангельским мотивам».

Все помнят, что Левин был одарённым публицистом и оратором. Но важнее, что он был собеседником, хранителем утраченного в нашем веке искусства разговора. Он был собеседником в стихах своих, в статьях своих, в выступлениях у читателей, в домашней и дружеской беседе. И в «Магистралах», которой он отдал большую часть себя, подарив нам и себе то «мы», которое обретаешь не в толпе, а в тёплом кругу друзей и соратников, близких по духу.

Он был председателем Пира во время Чумы.

Спасибо, Гриша, за этот несуетный пир — скажу строкой Николая Панченко. Да, да — несуетный. Несмотря на все внешние проявления — постоянную спешку, опаздывания, неутомимое стремление объять необъятное...

Но в этой хлопотной оболочке мерцало величественное и великодушное сердце. Бессмертная душа, оставившая свой светлый след и здесь — во времени — и в пространстве.

1994–1997

Его нередко предавали. Он не предал никого. Ему отказывали в помощи. Он — всю жизнь помогал другим, в ущерб собственной литературной судьбе, здоровью.

Тяжёлые годы шли не над головой Левина, он вбирал всю их тяжесть в себя, в свою судьбу. «Поколения не старятся. Старятся лишь в одиночку», — сказано в одном из его стихотворений. И он остался навсегда молодым в верности своему поколению — великому, трагическому, обманутому, рассеянному по фронтовым братским могилам и колымским снегам. Близкий друг М. Кульчицкого, Левин сам из тех «лобастых мальчиков невиданной революции», как бы ни приходилось нам переоценивать её самое. Она обманула их, но они её не обманывали. И я без высокомерия и злорадства читаю сейчас написанное Григорием Левиным в 1941 году стихотворение «Без коммунизма нам не жить...». Это предельно искреннее, честные, не раболепные строки. Так мы думали, в это мы верили. Для Левина это была святая вера в то, что «коммунизм — это место, где не будет чиновников и где будет много стихов и песен». Он искренне верил, что от того, что «рубит воздух женотделки неутомимая рука», рождается добро и справедливость. В его стихи входила волнующей сердце темой мелодия «Интернационала». Мы разделяли со своей страной театрально-величественную, а на деле — трагедийную судьбу. Можно ныне горько усмехаться. Но нужно понимать, что строфы о революции стояли для Левина в одном ряду с его хрестоматийным стихотворением «Ландыши продают».

Почём свежесть?
Почём красота?
Почём нежность?
Почём чистота?
Почём воздух сегодня дают?..

Он никогда не спекулировал на том, что казалось святым. Это — и в личной, и в творческой, и в гражданской его жизни — не подлежало ни купле, ни продаже.

Сейчас порой с издёвкой говорят о чувстве интернационализма. Да, многое было искажено властями предрержащими в этой сфере, но от этого само понятие не стало для учеников Григория Михайловича одиозным. У Левина много стихов не только о России, но и

об Украине, где он родился и рос, о Грузии и Армении, Белоруссии и Прибалтике. И то, что в них выражено, я ощущаю, особенно сейчас, как жизненно необходимое мне и всем нам для того, чтобы выстоять против совершающегося националистического беспредела, не пожелтеть, не окоричнеть, не скурвиться. Дело не в том, что стихотворение 1948 года «Братство» посвящено 26 бакинским комиссарам, а в другом, более важном: «Кто сказал, будто разная кровь у грузина и тюрка? Иль не общию кровью земля сожжена здесь дотла, — когда с плеч одного наземь падала чёрная бурка, и другому она изголовьем последним была!»

Григорий Левин имел право сказать о себе: «Я стал вам по крови родня, хевсуры, и сваны, и пшавы», — и обратиться с родственной любовью к «вологодскому говору» и к «полтавской медлительной мове», к «узорчатому ужгородца слову» и к «польской речи... деленью на долгие распевные слога»... Если бы всё это было нормой для каждого!

С «Магистралью» недаром была связана на определённых этапах творческая судьба таких классных переводчиков поэзии, как Марк Самаев, Михаил Курганцев, Павел Грушко, Инна Миронер. Переводами как делом гражданским, а не только чисто литературным, занимались и другие поэты-магистральцы.

Можно много сказать о Григории Левине как о критике. Он первым откликнулся на книги многих известных ныне поэтов. Он своими статьями подставлял плечо многим поэтам, не очень облаканным критикой и советским официозом. Левину был благодарен за тонкость понимания своего творчества М. Пришвин...

Левин верил в своих учеников, в их возможности. Десятки людей обязаны ему своим участием в литературе и литературной жизни, в пропаганде поэзии. Видя все слабые места, он поддерживал наши стихи, стремясь укрепить в нас веру в себя — и из многих «вытягивал» поэта. Он знал, что не в каждом зажжётся «светильник разума», но хотя бы искорки — вспыхнут... Встретить такого человека и Учителя — редкое и великое счастье.

Инесса Миронер

Григорий Левин

Краткая биография

МЫ с Григорием Левиным «расписались» вскоре после начала Отечественной войны: 30 июня 1941 г. в ЗАГСе г. Харькова. Супружеский наш союз просуществовал до дня его кончины – 31 октября 1994 г.

Григорий Михайлович был беззаветно предан литературе, боготворил созданное им литобъединение «Магистраль», любил своих учеников. Он был «борец за правду» и совершенно бескорыстный человек, бессребреник. Мы с детьми Леной и Володей это понимали и уважали, хотя жизнь с ним не была лёгкой. Семья наша была крепкой – мы очень любили Григория Михайловича.

Писать о нём мне трудно до сих пор. Поэтому прилагаю написанную мной краткую биографию Григория Левина, включающую библиографические сведения. Она была опубликована с сокращениями в сборнике-справочнике «Літературна Харківщина», Харьков, 1996.

Григорий Михайлович Левин родился 25 октября 1917 г. в городе Хорол Полтавской области. Закончил украинскую семилетку в Харькове, там же – Газетный техникум им. Н. Островского при Институте журналистики. В 1937 г. поступил на филологический факультет Харьковского университета им. Горького. В связи с начавшейся войной в 1941 г. досрочно получил красный диплом ХГУ.

Ещё будучи студентом, он начал публиковать свои статьи об украинской литературе в «Литературной газете», в журнале «Прапор» и газетах Украины, руководил литературной студией филфака. В Харькове в 1941 г. принят в Союз писателей. Члены приём-

ной комиссии — Ю. Смолич, В. Юхвид, М. Пригара и др. вынесли решение, в котором в частности записано: «...за опубликование в центральной прессе статей, имеющих принципиальное значение для украинской литературы».

С 1943 г. Г. Левин живёт в Москве, где в 1944 г. окончил Литературный институт им. Горького, получив диплом с отличием, а в 1947 г. поступил в заочную аспирантуру того же института, которую через три года закончил, сдав на «отлично» 22 экзамена.

В 1946 г. Г. Левин основал литературное объединение «Магистраль» и был его бессменным руководителем вплоть до своей кончины 31 октября 1994 г. Творческую школу этого объединения прошли многие писатели, чьи имена получили известность не только в нашем отечестве, но и за его пределами. В Союз писателей было принято более 50 магистральцев. Как руководитель объединения и член Совета по работе с молодыми авторами Г. Левин написал множество статей и заметок о задачах работы с молодыми, о стихах молодых авторов, о работе литобъединений (газеты «Комсомольская правда», «Труд», «Московская правда», «Московский литератор», журнал «Истоки» и др.).

В первом вышедшем после начала войны номере «Литературной газеты» (1941, №26), Г. Левин напечатал статью о творчестве Л. Первомайского «Поэзия на вооружении». За годы своего творчества он написал более 300 статей и рецензий, из которых добрая половина была посвящена украинской литературе. Ещё до войны он написал статью «Поэт-революционер» об Иване Франко («Литературная газета», 1941, №22). Им написаны также статьи: «Свет поэта» («Литературная газета», 1940, №13) — о творческом пути М. Рыльского, «Лирик революции» («Литературная газета», 1940, №51) — о В. Сосюре, «Точка зрения» («Литературная газета», 1939, №46) — о творчестве Н. Ушакова и др.

В годы войны, имея «белый билет» по зрению, он жил в Уфе, куда был эвакуирован Союз писателей Украины и где выходила украинская литературная газета. Он активно сотрудничал с ней, в частности, напечатал в ней очерк о Ю. Мартиче «Риси часу» («Литература и мистецтво», 1943, №5), очерк об исторических стихах С. Головановского и многие другие. В издательстве Академии наук Украины опубликовал работу о творчестве Ю. Смолича.

Во время войны и после неё Г. Левин активно сотрудничал с журналами «Вітчизна», «Україна» и «Дніпро», рядом украинских газет, печатался в «Литературной газете», журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Иностранная литература», «Смена», «Огонёк» и др.

Г. Левиным написаны 6 статей о С. Наровчатове, по четыре статьи о М. Рыльском, М. Львове, Е. Винокурове, по три — об А. Копштейне, А. Малышко, по две — о П. Воронько, А. Пидсухе, статьи о многих других украинских писателях. В сборнике «Сквозь время» (М., «Советский писатель», 1964), в «Дне поэзии» за 1966 г., в книге М. Кульчицкого «Вместо счастья» (Харьков, «Прапор», 1991) и в др. напечатаны его воспоминания и стихи о М. Кульчицком.

В центральных газетах и журналах Левин много писал о многонациональной поэзии нашей родины, активно принимал участие в национальных декадах, печатал переводы стихов с узбекского, украинского, грузинского и др. языков. Он написал статьи о В. Казине, П. Тычине, Н. Асееве, М. Пришвине, В. Луговском, П. Маркише, А. Фадееве, И. Сельвинском, М. Петровых, С. Кирсанове, Ю. Левитанском, Н. Старшинове, Н. Панченко и др.

К столетнему юбилею А.П. Чехова он напечатал статью «Большой талант и удивительный человек» («Московская правда», 1969, №24), к 150-летию Г. Лонгфелло — «“Песнь о Гайавате” и её творец» («Комсомольская правда», 1957, №49). Когда вышел «Заповіт» Т. Шевченко на языках народов мира, Г. Левин написал заметку в «Московской правде» (1961, №58).

Г. Левин выпустил четыре книги лирических стихов: «День в отпуску» (1963), «Мы вами будем» (1981) — в издательстве «Советский писатель», «На пределе откровенности» (1987) — в «Современнике» и «Евангельские мотивы» (1994) — за свой счёт в издательстве «Голд Принт». С момента появления сборника «День поэзии» (1956) стихи Г. Левина печатались почти в каждом выпуске. Многие стихи поэта неоднократно перепечатывались в антологических сборниках, появлялись в периодике; некоторые опубликованы в переводе на иностранные языки. Одно из самых известных стихотворений Г. Левина «Ландыши продают» включено в Антологию русской поэзии «Строфы века», составленную Е. Евтушенко (М., 1999).

Он знал, для чего живет

«**Е**СТЬ лишь один человек, способный вам помочь, — сказала мне Наташа Генина, руководитель поэтического семинара во Дворце культуры «Меридиан», куда я иногда заглядывал на огонёк. — Этот человек — Григорий Михайлович Левин. Хотя это уже не тот Левин... но попробуйте».

Она, вероятно, тут же забыла о своей рекомендации. Но по счастливой случайности я прочёл где-то о предстоящем вскоре юбилее поэта — и вот перед входом в ЦДЛ я смущённо поздравляю Григория Михайловича и ещё более смущённо передаю ему подборку своих стихов...

На пороге дома меня встречает жена. «Только что звонил Левин, сказал: “Ваш муж гениальный поэт”. Просил немедленно позвонить».

Звоню. «Приходите завтра, приносите всё, что у вас есть».

Назавтра сижу у Григория Михайловича в его тесной, заваленной рукописями и книгами комнате. Он рассказывает мне свою биографию. Вот пунктирная запись этого рассказа.

Я считаю, самое трудное в поэзии — встать над своей биографией, писать не факты жизни, а биографию души...

Отец мой умер, когда мне было три года. Мать была чулочницей в Полтаве. Мы бедствовали. В 1929-м поехали в Крым. Мать поранилась на полевых работах, мы решили перебраться в Харьков.

Девяти лет в годовщину смерти отца я читал по-еврейски кадиш. Как Бог мог допустить такую несправедливость? Наутро я проснулся неверующим...

Через пятьдесят лет Григорий Левин напишет «Евангельский цикл» — пронзительные стихи о вере.

В шесть лет я написал: хочу быть литературным критиком. Окончил украинскую семилетку в Харькове, в 1941-м – университет. Госэкзамен сдавал в бомбоубежище. В армию меня не взяли из-за близорукости – минус семь. Я пошёл на оборонный завод...

За три дня до того, как немцы вошли в город, Корнейчук кричал на меня: «Вы что, у немцев хотите остаться? Никакой обороны не будет! Возьмите документы и немедленно уезжайте!»

У меня был полный Хлебников – пять томов, Слуцкий подарил мне лучшую книгу Киплинга – «Семь морей», была уникальная библиотека немецкой классики. Всё это пришлось бросить. Надо было спасать жизнь. Нет, не свою – близких.

Через шестнадцать суток мы приехали в Казань. По дороге нас восемь раз бомбили. Я был похож на человека, просидевшего двадцать лет в лагерях... Нашёл мать, сестру – мы потерялись, и они мысленно уже похоронили меня.

Я пошёл в Союз писателей. На своё счастье, застал там Фадеева. «Так это вы объявили войну Японии! Вы знаете, что за вашу статью о Первомайском, где вы писали, что надо отомстить японцам за гибель Лазо, редактора с работы сняли?» – Фадеев рассмеялся и посоветовал обратиться в Наркомпрос Татарии.

Меня направили на работу в село, учителем. Дети не хотели учить русский язык: «Ты татарский не знаешь, мы русский не знаем». Тогда я перевёл на татарский пушкинскую «Метель», потом – «Капитанскую дочку». Они стали тише воды. Я читал им Шевченко на украинском...

Потом я перешёл работать в республиканскую газету «Красная Татария». В отпуске поехал в Москву, пришёл к Фадееву, и он дал мне письмо к Павло Тычине. Мы проговорили с Тычиной весь вечер. Он подарил мне свою только что вышедшую тоненькую книжку с трогательной надписью – «Поэту поэтов». «Только чем я могу помочь вам? – спросил он. – Идите к Рыбаку».

Я твёрдо сказал себе, что буду литературным критиком. Для поддержания своей уверенности в этом купил по дороге к

Рыбаку учебник санскрита для Петербургского университета и (за рубль!) прижизненные сочинения Лермонтова.

В Литературный институт меня приняли на четвёртый курс. Там проучился год, со всеми перезнакомился. А в 1946-м основал «Магистраль»...

Мне часто говорили разные люди, что «Магистраль» дала им больше, чем Литинститут. Я приглашал на семинары всех, кого знал и не знал. Занятия в Малом зале ЦДКЖ привлекали всю литературную Москву. Из этого зала растекались по Москве песни Булата. Магистральцы приняли ещё до выхода в свет поэзию Тарковского, переводы Левика, стихи Вознесенского, Самойлова, Евтушенко, Леоновича, Матушовского, Алигер – всех не перечислишь. Занятия в ЦДКЖ были похожи на фейерверк! Кое-кому это не нравилось: «Вы – железнодорожники? Разве “Магистраль” не по железнодорожному ведомству? Кто разрешил?!» Семинар вынужден был переехать в ВИНТИ. Но и там пытались ограничить «сборища». Последней остановкой стал ДК «Калибр»...

Я видел много покаяний... Говорят, перед смертью Хрущёв просил передать всем писателям, которых он обидел, что он просит у них прощения. «Я продержал Алигер два часа в приёмной, так её и не приняв. Передайте. Мне легче будет умирать»...

Я не застал многолюдной «Магистральной» ЦДКЖ и ВИНТИ. И Левин в чём-то уже был «не тот» – сказывались годы. Но в своём главном – в любви к людям и поэзии – он остался прежним. Одна просветлённая строчка пробуждающегося поэта побуждала его сказать тёплые слова, вселить уверенность.

Мы должны принимать в «Магистраль» людей, обладающих Божьей искрой, –

часто повторял он. И ещё:

– Вы счастливые люди. Вы ставите перед собой вопросы, над которыми не задумываются миллионы людей: что

есть я? Зачем я пришёл в этот мир? В чём моя индивидуальность?

Искусство ничего не должно описывать. Как чёрт от ладана, надо бежать от риторики, газетности, трескучести. Поэт не проповедник, исповедь – другое дело...

Никакой «техники» в поэзии не существует. Никакого «профессионализма» – тем более. Поэт – не профессия. Иногда говорят о мастерстве, но и это не самое точное определение. Есть душевное состояние, и есть умение создать образ, погрузиться в него...

На одном из обсуждений, кажется, С. Вермишевой, Григорий Михайлович сказал: «Свобода – выше любви». Потом подумал и добавил: «Но поэзия – выше свободы». Впрочем, не будет ошибкой сказать, что он одинаково преклонялся перед свободой, любовью и поэзией. Любовь была его сутью. Иначе как он мог недоумевать, почему продают, а не дарят ландыши, как мог написать:

Талант открыть, как снова полюбить.
Как надышаться ветром и зарёю.
Талант открыть – как самого себя отрыть,
Заваленного мёрзлой землёю.

Григорий Михайлович знал, для чего живёт. И тогда, когда читал татарским школьникам Пушкина, и когда вёл многолюдные семинары, и когда, подобно Блоку, рассказывал о сути поэзии двум-трём «некалиброванным» поэтам в неотопливаемом «Калибре». Знание это отпечатлелось на его лице, похожем на лицо библейского пророка, когда мы в последний раз видели его в столь нелюбимом им Доме литераторов.

Построенную им «Магистраль» невозможно разрушить, как невозможно убить Поэзию.

Магистраль

ОГЛЯНЕМСЯ назад. В середине пятидесятых, после смерти тирана всех веков и народов, наступила «оттепель» (по меткому названию повести Ильи Эренбурга). В эту пору засверкала сначала в литературной среде Москвы, а потом и в кругах широкой интеллигенции, особенно молодой, «Магистраль» — литературное объединение.

Территориально «Магистраль» располагалась в устье площади Трёх вокзалов, в здании клуба ЦДКЖ (Центрального Дома культуры железнодорожников), построенного, как гласит литературная легенда, на деньги подпольного миллионера Корейко. Возглавил это литобъединение выдающийся литературный педагог, поэт Григорий Михайлович Левин.

Разумеется, начальники от литературного процесса в МПС (Министерстве путей сообщения — ох, и любили же у нас аббревиатуры!) предполагали, что участниками литобъединения станут машинисты, инженеры, проводники и стрелочники, — они не могли и представить, что состав литераторов, мягко говоря, сильно расширит свои рамки, а процессом этим управляли с большим трудом, с помощью парткома.

Очень скоро начальство поняло свою оплошность, но было поздно — закрыть литобъединение в такое «оттепельное» время неких послаблений и игры в демократию оказалось невозможно. Как же попадали в «Магистраль» студенты, начинающие писатели, литературно одарённые люди разных специальностей, совершенно не связанные ни с железной дорогой, ни с МПС? Очень разными путями.

Например, автор этих строк в начале 60-х, когда делал самые первые даже не шаги в литературе, а лишь поползновения опубликоваться, не придумал ничего лучшего, как пойти со своими стихами в «Литературную газету». В редакции на Цветном бульваре абитуриенту сказали, что, если он вообще нигде не пе-

чтался, надо сначала показать свои гениальные опусы литконсультанту.

В обозначенной комнате сладко потягивали сигареты два молодых симпатичных человека: Булат Окуджава и Владимир Максимов. Это мне ничего не говорило. А уж моя фамилия им — и подавно. Молодые люди почитали тут же мои стихи и дружно заявили:

— Это у нас, — они подчеркнули эти слова — «у нас», но я ничего не понял, — не напечатают, не пропустят...

— А что делать? — поинтересовался наивный абитуриент.

— Вы Гришу Левина знаете? — спросил Окуджава.

— Нет.

— А литературная среда у вас есть? Общение?

— Нет.

— А про «Магистраль» слышали?

— Нет, — мои ответы были однообразны, но искренни.

— Вот вам к нему и надо, в «Магистраль», к Григорию Михайловичу Левину. Поедете до площади Трёх вокзалов, в ЦДКЖ, вход с переулка, занятия по воскресеньям и четвергам, скажете, что вас Булат прислал — чтоб ему ясно было, а так не примет. Вам нужна литературная среда, там, у Гриши, вы многое поймёте.

Булат Окуджава оказался совершенно прав: вокруг этого бескорыстного эрудита и энтузиаста собрались десятки людей, ставших вскоре яркими ячейками литературной мозаики последующих десятилетий.

В ущерб своему времени и здоровью Григорий Михайлович занимался судьбами всех, кто к нему приходил и в кого он поверил, невзирая на нездоровье, хроническое отсутствие денег, времени и, вообще говоря, небольшие возможности в том смысле, что он не занимал никаких официальных постов. Его главными аргументами были: доброе имя, эрудиция и фамилии людей, уже оперившихся в «Магистрале».

Читатель, если вы — любитель поэзии, имена, которые сейчас прочтёте, скажут вам очень много, если нет — постарайтесь запомнить их и найти книги, подборки этих авторов в разных журналах и газетах — они доставят вам радость. Для меня эти имена звучат, как несмолкаемый, хорошо знакомый, радостный аккорд. Не по ал-

фавиту или какому другому принципу, а как подсказывает память, делюсь с вами.

В «Магистралах» занимались Булат Окуджава, Нина Бялосинская, два Виктора — Гиленко и Забелышинский, Саша Аронов, Алла Стройло, Владимир Львов, Елена Аксельрод, Эльмира Котляр, Наталья Астафьева, Владимир Леванский, Павел Хмара, Хулио Матеу, Владимир Леонович...

Люди приходили и уходили, появлялись редко, когда выбирались на простор литературы, но никто из побывавших тут, на занятиях, не прерывал уже никогда своей связи с этим сообществом и, конечно, Григорием Левиным. Я старался не пропускать заседания и присутствовал как «вольнослушатель» — так определил мой статус руководитель, потому что никакого отношения к железной дороге я не имел. Это «вольнослушательство» длилось года полтора... Но вот однажды, придя на занятие, Григорий Михайлович начал читать моё детское стихотворение:

Книжка, книжка записная,
Наша память запасная...

«Всё! — толкнул меня в бок Виктор Гиленко. — Теперь примут в члены!» Он оказался пророком. Григорий Левин читал стихи из только-только вышедшей моей первой детской книжки. Я ещё не успел её подарить ему — он всё, что касалось литературы, знал первым и хранил в памяти, а против стихов, которые ему понравились, устоять не мог. Теперь, став полноправным участником «Магистралей», я не пропускал занятий — и как можно было! Почти на каждое занятие Григорий Михайлович приводил с собой кого-нибудь из друзей-поэтов. У кого-то вышла новая книжка, кто-то собирался сдать в издательство новую рукопись и приходил почитать её на публике, выслушать мнение квалифицированных людей. А попасть в «Магистраль», чтобы обсудить своё произведение, считалось честью — здесь было искреннее, заинтересованное отношение к произведениям, а не к анкетам авторов, как в Союзе писателей, где надо было взвешивать каждое слово и определение, прежде чем его обнародовать. А что касается уровня обсуждений — все знали: в «Магистралах» обсудить свои стихи очень полезно.

Опять же наберитесь терпения, Читатель, потому что фамилии людей, которые вы сейчас увидите, — это прекрасная песня. Как подсказывает память, здесь побывали со своими стихами Виктор Урин, Белла Ахмадулина, Наум Коржавин, Валентин Берестов, Николай Панченко, Евгений Винокуров, Александр Балин, Олег Чухонцев, Борис Чичибабин, Роман Левин, Семён Сорин, Евгений Евтушенко, Павел Антокольский, Семён Кирсанов... Всех упомянуть нет возможности... да простят они меня.

Каждое занятие «Магистрالی» превращалось в прекрасный литературный вечер, и все эти вечера не имели лишь одного — конца. Уже поздно, уже мы все разобрали свои пальто и плащи из гардероба, потому что служителю пора уходить, уже пришёл не однажды вахтёр, стороживший вход, и предупредил, что закроет дверь и никого не выпустит, но и это никого не пугает... Разве можно передать хоть каким-нибудь способом притягательную силу поэзии в кругу милых сердцу людей? Это был единственный недостаток «Магистрالی» — недостаток времени. Недостаток постоянный и неисправимый. Особенно это чувствовалось, когда мы шли куда-то выступать. Все читали помногу, все читали долго, наши поэтические вечера затягивались невероятно... но публика знала нас, была закалённая, не только не протестовала, но, наоборот, была благодарна! Такая атмосфера объединяла всех нас... ещё не были убиты все надежды...

Фигура Григория Михайловича в любом нашем собрании и поэтическом начинании была, конечно, центральной... собственно говоря, не то чтобы центральной, а безусловно необходимой. Трудно объяснить, почему, но без него всё меркло, становилось малоинтересным и малозначительным.

Он непрактичен и доверчив. Он мечтает опубликовать сборник из произведений магистральцев. Другим литобъединениям это удаётся... Они находят какие-то лазейки в издательства. Или договариваются с ведомством и его типографией... И тут есть ведомство, владеющее «Магистралью», пусть хотя бы формально. Но год проходит за годом... сборника нет и нет...¹

Зато на неприятности и пакости начальство было щедрым и третировало Григория Михайловича по любому поводу... Вот ру-

¹ Сборник «Магистраль» был выпущен методическим кабинетом ЦДКЖ (МПС) в 1965 г. тиражом 15 тыс. экземпляров. — *Прим. ред.*

гательная статья об Окуджаве... и уже косо смотрит партком и выговаривает Левину, что «это ведь ваш опять отличился!»! А разве анонимка не повод?

И он отбивался, как умел... а умел плохо... Иногда, казалось, пасовал перед невежеством и хамством.. Обидно и тоскливо становилось, когда мы видели его в огорчении по этим причинам.

Иногда он призывал кого-то одного «на консультацию» — и говорил с глазу на глаз то, чего не скажешь публично. За два часа разговора с ним понималось и приобреталось так много, такое неопределимо важное... оставалось оно в тебе навсегда... И я до сих пор благодарен ему за эти беседы... за всё... за всё, что он делал.

...Вот мы едем с Левиным — человек пять или шесть — домой к поэту Виктору Урину... Это не квартира — это музей... Все стены, потолок, даже двойные двери исписаны автографами побывавших здесь, от великих — до нас, неизвестных. А вдруг потом станем известными?! — Да наверняка: ведь «Гришины ученики»...

Сосновый стол из половых досок. Он ничем не покрыт. На нём рубанок. Мы снимаем стружку — вот и чистая, гладкая, невероятно вкусно пахнущая поверхность, на которую выставляется водка и нехитрая закуска. И начинается незабываемое: звучат «Египетские ночи» Пушкина... Мы в это время, под чтение, пишем свои темы и опускаем их в шапку, она по кругу доходит до хозяина, сидящего во главе стола. Он встаёт... запускает руку в шапку... достаёт бумажку... Всё медленно и театрально... Читает тему... поднимает голову, прикрыв глаза веками... миг молчания... и вдруг на наших глазах начинается чудо импровизации... и следующая тема догоняет первую... и не рвётся нить повествования, несмотря ни на что — разные темы, люди, почерки, мысли! Урин — прекрасен! Он — Творец! И мы все потрясены его даром... его квартирой-музеем... его вышитой им самим картой СССР с маршрутами двух путешествий на машине вдоль всей невероятной, непроходимой, непостижимой страны... И Григорий Михайлович счастлив. Его глаза за толстыми стёклами очков совсем поглубели, и, по-моему, увлажнились... он с нами... в наших восторгах, преданности поэзии, уважении к этому дому и его хозяину...

А сегодня наш путь — в Парк культуры им. Горького, на открытую эстраду, где в воскресный дождливый осенний день нас слуша-

ют «полторы старушки»... Но никто не огорчён и не обижен — это «надо»... А потом мы уже не замечаем, что на влажных от дождя скамейках мало людей, и увлечённо, и опять долго, выступаем...

Зато в следующий раз нас принимает музей А.С. Пушкина в Хрущёвском переулке на Пречистенке и его основатель и директор, замечательный человек Александр Зиновьевич Крейн... И здесь, в этом доме, в этом зале мы знакомимся с такими людьми! И попадаем в такой мир!.. Это всё подарки Григория Михайловича... он знает все литературные «точки» Москвы... его знают и привечают везде... и не представляют одного, без вечной надёжной свиты учеников...

В квартире Евдоксии Фёдоровны Никитиной во Вспольном переулке, где с тех пор, как завёл этот обычай её покойный муж, происходят по субботам заседания, мы словно переносимся на полвека назад... Мы в огромной комнате со стенами — книжными стеллажами и овальным столом посредине с блюдами крошечных бутербродов и пахучим чаем в стаканах с подстаканниками... Может быть, тут остановилось время?! Потому что рядом сидит Рюрик Ивнев, а вот пришёл Сергей Городецкий... следом появляется сам Александр Павлович Квятковский!.. Спасибо Григорию Михайловичу — сюда попасть не просто: не придёшь ни с улицы, ни по звонку... только постоянный член этих собраний может, имеет право привести сюда нового человека. Бескорыстие Григория Михайловича выражается в радости, которую он не умеет скрыть при похвале его подопечного... здесь ли, в другом ли месте... А мы читаем свои стихи — иначе нельзя — это входной взнос в историю собраний этой комнаты, которой гордилась Россия...

Нас порой разводит жизнь, мы заняты своими судьбами, семьями, но у нас ещё одна семья — здесь, в квартире Левина и его жены Инны Миронер, прекрасной переводчицы, ещё один поэт подрастает, сын Володя, следом дочка Леночка — и мы приходим на дни рождений... в Новый год... Какие ещё праздники мы отмечали? Наш праздник — собраться вместе и упиться строками стихов...

Нас иногда раздражает неприспособленность Левина ни к чему, кроме стихов, — но это всё окупает, и мы счастливо становимся такими же фанатичными, забывающими обо всём, когда звучат строки, когда он рядом, когда с ним необыкновенно хорошо в его мире, его атмосфере, его счастья поэзии...

Небрит, неряшлив, мятый воротничок и жёваный галстук? Нет, мы видим его по-другому, глазами, любящими этого человека. Элегантен, стремителен, строен, изящен в каждом жесте, ритме, повороте строки, изобретателен в рифме и гурман в слове, и взгляд, взгляд прозрачен и чист, откровенен — превосходен, только влюбиться...

Он мало пишет. Не умеет «пробивать» свои книги и публикации... но именно это и есть Левин:

Хорошо, когда человек,
Уходя, оставляет песню...
Пусть не громкая, но своя,
Людям дарит он соловья...

Это же не декларация — это Левин, который один и может спросить наивно-отрезвляюще про ландыши, которые продают весной на привокзальной площади:

Почему не просто дают?

Ну, кто рискнёт ответить на его вопросы? —

Почём свежесть?
Почём красота?
Почём нежность?
Почём чистота?

И это в задолбанной постановлении съездов и пленумов ЦК партии стране!

Может, он оттого и писал так мало?

Мы все прошли его школу мужества, школу дружбы и преданности, а только при таком образовании и возможна литературная работа. Он не умел предавать принципы, они у него были в жизни те же, что и в стихах...

Григорий Михайлович переезжает на новую квартиру — из теснодвухместносовмещённой хрущобы — читать неудобно, трудно, а жить как? Особенно писателю с таким архивом?! Я прихожу помочь — собирать рукописи и книги, паковать. Весь пол в двух

комнатах, из которых уже увезли мебель, усеян листками и листочками, вырезками из газет, брошюрами, папками...

— Осторожно, осторожно! — кричит своим сорванным сиплым голосом Левин. — Осторожно! Не наступите! Это всё очень важные бумаги! — я замираю на пороге... сажусь на корточки и начинаю подбирать листок к листку... — Что вы делаете! — кричит Левин. — Я же потом ничего не найду! — я в полном недоумении и не понимаю, как быть. Что можно сейчас найти в этом хаосе, на полу, многослойно усеянном бумагами? Но Левин стремительно бросается на колени, вылавливает нечто из массы и протягивает мне: «Вот, посмотрите! Я хотел вам показать!»

Я потрясён и ошеломлён... Как ему удалось поймать это здесь, в обвальном беспорядке?! Он знает и помнит каждую бумажку «в лицо»! И все они важны ему равно: и список со стиха Анны Андреевны Ахматовой, и листок рукописи не известного ещё никому его ученика, в котором он, великий педагог, зажёл свет за втраченного утра...

Он тяжело переживал неудачи своих учеников. Ещё тяжелее — несправедливости, обрушиваемые на них ошестиненной властью... Старался помочь... Силы его были невелики, но его ходатайства с помощью литавторитетов и литгенералов в чиновных кабинетах иногда пробивали бреши в круговой обороне власти от мыслящих самостоятельно, не по её указке... Левина уважали все, за себя он не просил никого...

Вот надпись мне на его последней книжке: «Дорогому Михаилу Садовскому, наконец-то прошибшему бюрократические рогатки. Свежим ветром повеяло! Григорий Левин». И приписка чуть ниже: «И на память о безвременно погибшем сыне. А есть ли время?»

Был девяносто четвёртый год...

У книги посвящение: «Светлой памяти моего сына — поэта Владимира Ивелева». Эта смерть заслонила всё в последнюю часть жизни Григория Михайловича, свела его самого раньше срока в могилу...

И вот он в Доме литераторов, в зале, где юбилейные банкеты чередуются с панихидами... Стоя в почётном карауле рядом с его прекрасной и родной головой, я не могу видеть белый свет в этот чёрный день... Но сквозь слёзы преломляются и впадают в мой взгляд

лица его друзей, ставших моими с того самого первого дня, когда я переступил порог ЦДКЖ... Утешением звучат мне «Евангельские мотивы» — стихи его последней книги, названной так потому, наверное, что они были мотивами всей его прекрасной жизни.

Всей земной премудростью владея,
Я б одно поставил — выше всех:
«Несть ни эллина, ни иудея».
Позабить об этом — смертный грех.

Всем людским стенам чутко внемля
И чтоб дух людской не обеднить,
Не затем ли Бог сошёл на землю,
Чтобы всех людей объединить?

Той любви нетленного запаса
До конца веков не исчерпать.
Кроткий лик всеведущего Спаса
Как на сердце прочная печать.

Разве той любви у нас не хватит,
Чтобы рознь людскую превозмочь?
Всяк кулик своё болото хвалит,
Только в том болоте жить невмочь.

Мир не мог бы вырастить злодея,
Воспитать не мог бы палача,
Начертав на ножнах от меча:
«Несть ни эллина, ни иудея».

Страсть к поэзии

ГРИГОРИЯ Левина трудно представить себе одного. Я несколько лет был его соседом в доме на проспекте Вернадского. Даже по двору он всегда шёл с целой компанией поэтов. Приходил ко мне вместе с кем-нибудь, кого хотел мне показать. Звал к себе, чтобы показывать меня своим гостям, а заодно чтобы я «показал» Алексея Толстого или Маршака. Ему нравилось при этом смотреть, счастлив ли его собеседник.

А вот собственные стихи сочинять в компании невозможно — особенно лирику. Но и тогда Левин шёл к людям, терялся в их толпе.

Московский фестиваль 1957 года. Москва радостно общается с иностранцами. Карнавал в Парке культуры. Иностранные гости растворились в огромном стечении москвичей. Москвичи так принарядились, так оживились, так лепетали на разных языках, что казались ещё более иностранными, чем сами иностранцы. А вот иностранец, удивительно похожий на Григория Левина! Тоже, наверное, поэт. Идёт один — но губы шевелятся, глаза сверкают, руки жестикулируют, словно он в большой компании.

Но это и есть Левин. Сквозь толпу он прорывается ко мне. Два иностранного вида паренька на ужасающем английском о чём-то беседуют с тихой пухленькой девушкой, видно, из Подмосковья. На всякий случай спрашиваем по-английски, кто иностранец.

— Ши! — радостно вопят юноши. — Она француженка, студентка Сорбонны, ей куда-то надо, а мы ничего не понимаем.

Я археолог, французский — язык археологии. Беру девушку под свою опеку. Ей надо на Смоленскую площадь. Мы с Левиным её провожаем. Я тут же превращаюсь в их переводчика. Ни одной своей реплики!

Левин говорит с француженкой о поэзии. Та всё время переводит разговор на античных авторов. Левин поддерживает его, но

больше всего ему нужна современная поэзия. Он требует имён, характеристик поэтов, самых любимых молодёжью. В чём дело? Почему она скрывает их от него? Например, такого-то: Левин называет имя, вспоминает стихи. Девушку его интерес к поэзии почему-то обескураживает. Наконец она шёпотом, словно Левин может её понять без переводчика, умоляет:

— Передайте месье, что мне легче говорить об античности. Мы её уже проходили. А современную французскую литературу будем проходить на третьем курсе. И вообще я не очень интересуюсь поэзией.

Последнюю фразу я Григорию Михайловичу не перевожу. Иначе он сейчас же начнёт прививать девушке свою страсть к поэзии, а мне всё труднее становится искать в своей бедной памяти нужные французские слова.

Возвращаемся по Садовой. Левин пытается уже с моей помощью удовлетворить свой интерес к литературе. Я рассказываю о Сент-Экзюпери. О нём только недавно я услышал от Саши Ляпина, парижского родственника Поленовых. «Земля людей» ещё не попала к нам в руки, но Левин, как выясняется, жить без неё после моего рассказа уже не может.

Ландыши в подарок

ПОМНЮ, в январе 1976 года, готовясь к переезду из Харькова в Москву, а точнее — в Реутов, я обратился к поэту Борису Чичибабину с просьбой:

— Никого не знаю в Москве. Может быть, ты, Боря, посоветуешь мне, к кому обратиться.

— А ты позвони Левину. Зовут его Григорий Михайлович. Он руководит литературным объединением «Магистраль».

Григория Михайловича я знал лишь как автора благоуханного стихотворения «Ландыши продают...» Это маленькое поэтическое чудо тогда, уверен, знали все любители стихов. Но что он за человек?

— А ты не стесняйся. Ему даже записку я не буду писать. Достаточно позвонить ему и сказать, что ты пишешь стихи. А ещё: что ты из Харькова, города его студенческой юности. Вот его телефон. Главное — застать его дома.

Приехав в столицу, я тут же утром позвонил Левину, наверно, слишком рано: услышал недовольный голос Инны Ефимовны, его жены, оберегавшей покой мужа. Но тут раздался голос Григория Михайловича, который, как я понял, просто отобрал трубку у супруги: «Это ко мне! Сейчас мы с вами встретимся! А ведь могли не застать!»

И ту начался бег с препятствиями! Я не попевал за поэтом, спешащим на одно занятие литкружка, затем — на другое. Я, который был всё-таки моложе Левина, еле попевал за ним. Что-то радостно-лихорадочное было в этой спешке: автобус, трамвай, метро, электричка и просто бег по пересечённой местности. Люди ждали своего наставника.

А сами занятия были высшим классом. Здесь был и фейерверк речи, и детальный разбор, полный доброжелательности и в то же время строгости.

Таких занятий я не знал в Харькове. Григорий Михайлович прежде всего искал лучшее в ученике-стихослагателе и сам читал, и не раз, вслух то, что пришлось ему по душе. Но и критику обрушивал затем на молодого поэта. Находил то, что никто, и прежде всего критикуемый, не замечал: и сильное, интересное поэтически, и слабое.

Как мне не хватало в Харькове такого учителя...

Но Григорий Михайлович не ограничился разбором моих стихотворений и поэм. Он не побоялся дать мне возможность читать их на тех же вечерах, где выступали знаменитые Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Римма Казакова и другие. Находил для меня и музыкантов*.

Он стал по-настоящему моим старшим другом. Его, смело говоря, отеческую опеку я чувствовал всегда.

— Вы, Лев Ионович, должны мне звонить каждый день!

Да, он знал, что я почти одинок в Москве. А я, в свою очередь, почувствовал в нём родственную душу. Хотя, не сомневаюсь, так говорили и думали многие его ученики.

Бывало, ночью раздавался в моей квартире звонок. Григорий Михайлович не только хотел прочесть мне своё новое стихотворение, но и просто излить душу, поговорить о жизни и смерти, о душе и Боге.

Так однажды он прочитал мне:

Надо мною тишь да гладь,
Только Бога не видать.

А ещё это:

Я воду пью, а мне в стакане
Железо чудится и медь.

Часто, когда он приглашал меня к себе домой, мы говорили о вере, а не только о Пастернаке и Мандельштаме. Я особенно ценю книжку Григория Михайловича «Евангельские мотивы», к которой он шёл, я думаю, много лет.

Как он хотел помочь мне, чтобы обо мне немного хотя бы узнали любители поэзии. Настоял, чтобы в журнале «Юность»

* Л. Болеславский автор ряда поэм о великих композиторах. — *прим. ред.*

появился его отзыв о моей книжке «День радости», обещая главному редактору написать большую статью о нём в центральную газету.

Знакомил со всеми знаменитостями, кого встречал в ЦДЛ: и с Андрониковым, и с Леонидом Мартыновым, и с Борисом Слуцким – всех не перечислишь. Знакомство с Давидом Самойловым обернулось для меня выходом первой книги в Москве.

Зная моё пристрастие к музыке, Григорий Михайлович много говорил о любимых композиторах. Но был и самый любимый.

– Знаете, кто мне ближе всех? Гайдн! Йозеф Гайдн! Самый светлый, самый улыбочивый и добрый!

Я подумал, что и душа у Григория Михайловича была такой же, гайдновской – светлой, доброй, певучей!

Господи, думаю я, наверно, и в Твоих краях он собирает небесную «Магистраль» – а там поэты читают стихи по кругу: и Слуцкий, и Окуджава, и Мартынов, и, конечно, Витя Гиленко, и Витя Забелышинский, и Елена Надеина... И – всех он там примирил, как это нередко делал на земле. И, конечно, читает своё благоуханное – «Ландыши». А потом раздаёт всем, дарит ландыши с райских полей и лугов. Дарит, улыбаясь и приглашая на бессмертный поэтический праздник!

Невозможно забыть

...время прошедшее, время пропадающее
Нам никак невозможно забыть.

В. Ивелев (Левин)

СПУСТЯ три месяца после ошеломившей своей внезапностью смерти горячо любимого сына Григорий Михайлович Левин подарил мне книгу своих стихов — последнюю свою книгу, посвящённую светлой памяти Володи. Вот как подписал её Григорий Михайлович: «Родной и любимой Оле Наровчатовой, которую я любил с детства, милой подруге моего незабвенного сына и её славной дочурке Ксюше. С нежностью, от души Григорий Левин. 2 мая 94 года».

Автограф написан уже не очень твёрдой рукой больного, сражённого горем человека, но почерк, особенно подпись, сохранили свой полёт, вдохновение. И веет от этих строк горячее, воодушевлённой искренностью, которая выражала самую суть Григория Михайловича.

Я его знала всю жизнь. Меня познакомил с этой прекрасной, дружной семьёй мой отец, поэт Сергей Наровчатов. Открытый, щедрый поэтический дом, согретый и проникнутый любовью, куда приходила масса друзей, учеников, близких и дальних родственников, гостей. Быт, житейские трудности, необходимо серьёзные взрослые будни — всё отступало, попросту не было видно за общим воодушевлением, духом единомыслия и поэзии.

Думаю, не только для меня время, проведённое в общении с Григорием Михайловичем, было настоящим праздником. Огни на этом празднике потухли только с уходом любимого сына... Но тогда вся неистовость, вся нежность и все его последние силы были собраны в одно желание, в один порыв — продлить жизнь сына в стихах, и в Володиных и в своих, посвящённых его памяти. И можно было только благоговейно молчать и изумляться неукро-

тимому, высокому духу и предельному накалу чувств тех стихов, которые Григорий Михайлович нашёл в себе силы прочитать стоя, в последний раз выступая публично на своём творческом вечере. Как пронзительно прозвучали тогда строки:

Не умерли искатели души —
Так берегите же своих младенцев!

Здесь в тексте стоит точка, но он их воскликнул, и они так отозвались в сердце... Это была зримая победа духа над телом. Дряхлый старичок, с трудом опирающийся на палочку, как бы давал последний жизненный и поэтический урок своим ученикам и друзьям.

Григорий Михайлович был наделён даром объединять и безмерно увлекать, влюблять людей в своё литературное дело. Это был чуткий, изумительный, артистичный педагог, воспитавший несколько поколений прекрасных поэтов и просто хороших людей с хорошим вкусом. Не все, приходившие к нему в литературное объединение, писали стихи. Некоторые просто очень их любили и тянулись погреться у огня поэзии.

Я познакомилась с Григорием Михайловичем Левиным весной 1957 года. Отец сказал мне: «Хочешь, я возьму тебя на “Магистраль”? Будет интересно. Ведёт занятия мой друг». Я была девочкой и восприняла название «Магистраль» слишком буквально: решила, что творческие люди без предрассудков собираются прямо на большой дороге, разгуливают по ней и во всё горло читают друг другу свои стихи. Но действительность превзошла даже эти ожидания. Мы пришли... к реке.

Москва-река. Ресторан «Поплавок» покачивается на воде. Все уже в сборе. Длинный стол, накрытый белой скатертью, на которой предложено писать стихи на память об этой встрече (мне запомнились две строчки: «Мы душою чище стали, / Породнившись с «Магистралью»). Одурающие запахи весны, воды, цветов — для меня стало наглядно, очевидно, как можно любимое дело превратить в праздник. Оглушённая новизной, я села на стул и стала осматриваться. Все очень дружелюбно разговаривали. Казалось, это была одна семья. Тогда первый раз

в жизни я поняла, что означает слово «единомышленники». И вдруг моё внимание приковал статный, стремительный красавец брюнет с выразительными, умными глазами, блеск которых усиливался сверкавшими стёклышками очков. Он буквально летал по всему залу вокруг длинного стола, держа перед собой на вытянутой руке огромную открытую коробку шоколадных конфет. Он с разбегу останавливался то перед одной, то перед другой дамой и необыкновенно щёгольски и галантно, опускаясь перед ней на колени, предлагал ей выбрать конфетку. Я была безмерно польщена и счастлива, впервые по-настоящему почувствовав себя девушкой, а не девчонкой, когда коробка конфет элегантно низринулась и замерла перед моим носом. А из-за шоколада на меня смотрели необыкновенно весёлые глаза, полные несказанного дружелюбия.

Таким я увидела и полюбила на всю жизнь Григория Михайловича Левина. И подружилась сначала с ним, а потом — с его сыном. Володя, мой полный ровесник, с разницей в несколько дней — человек с необычной душой и характером, оригинальность которого возрастала вместе с его талантом. Возникли удивительные отношения, продолжавшиеся и менявшиеся, но не прекратившиеся и до сих пор, хотя его уже нет в живых. И в отношениях этих так живо, так заинтересованно, с такой душевной отдачей участвовал и Григорий Михайлович.

Он был человек очень азартный, очень активный, всегда готовый включиться во всё интересное. Когда мы познакомились, нам с Володиё было по 15, а ему — 40, но с каким энтузиазмом он катался вместе с нами с ледяной горки на Ильинском скверике, вечером, под лёгким снежком, выющимся романтически в свете фонарей! Об этом много позже у меня написались стихи...

Научить писать стихи нельзя, если это совсем не дано, но развить вкус, поощрить и ободрить, направить начинающего поэта в русло истинной, бескорыстной, далёкой от конъюнктуры поэзии, помочь, разобрать неточности, несообразности, возможную степень подражания или зависимости, сделать это не обижая, умно, тонко и точно мог и умел Григорий Михайлович. Знаю это и на себе. Специально я никогда не посещала «Магистраль», но, фактически

бесконечно в юные годы пребывая в доме Левиных, я впитывала всё, ненароком присутствуя на постоянных поэтических дискуссиях так же, как и в доме моего отца.

Григорий Михайлович всегда с необычайным жаром читал стихи и сопровождал их очень точными, иногда аффектированными, но удивительно органичными и пластичными жестами. Он вносил во всё предельную увлечённость. Она была тем более убедительна, что соединялась со здоровым анализом литературоведа и эрудита. Он написал шесть крупных и по объёму и по значению статей о моём отце, чем немало содействовал его успеху и признанию.

Я держу в руках сборник Григория Михайловича Левина «День в отпуску». Читаю автограф, предназначенный моему отцу:

«Дорогому Сергею Наровчатову, поэту высокой и благородной русской традиции, товарищу и другу многих лет, на верность всему, чему мы присягали — революции, поэзии, дружбе, от всего сердца

Григорий Левин.

21/VI-64 г.

В канун дня, во многом определившего судьбу нашего поколения...

Я — всегда с тобой. Помни об этом».

Когда мой отец умер, на панихиде в Центральном Доме литераторов, протолкнувшись сквозь большую душную толпу, Григорий Михайлович крепко и судорожно пожал мою руку, и я, даже будучи в особом состоянии, внутренне содрогнулась, услышав его короткое, глухое и подавленное рыдание. Когда я попробовала всмотреться в его глаза, он быстро отошёл.

Людей он любил нежно, глубоко, с большим целомудрием и достоинством. Когда мой отец достиг общественного успеха, вокруг него иногда возникали не только почитатели его таланта, но и откровенно льстящие, надеющиеся на какую-либо поддержку люди. И подчас истинные друзья с достоинством отступали в тень. Я думаю, мне и Григорию Михайловичу близки были именно такие люди. Сам он был глубоко принципиален в высшем смысле этого слова и говорил то, что думал.

На открытии надгробного памятника моему отцу Григорий Михайлович прочитал специально написанное к этому случаю стихотворение. Был он уже с палочкой, и голос ему иногда изменял, но не утерял он своей страстности, своего энтузиазма:

И, может быть, ты оттого ушёл,
 Что сил не шадил, себя не берёг.
 Шумит гвардейского знамени шёлк,
 И вновь ты встаёшь — судьбе поперёк!

Так заканчивается это стихотворение. И мне кажется, что эти строки могут быть вполне отнесены и к самому Григорию Михайловичу Левину.

Его душевная преданность, самоотверженность по отношению к людям, к которым он хорошо относился, не знала предела. Он жил для этого, и это было переплетено с любимым делом. Когда дома я скромно отмечала 70-летие со дня рождения моего отца, Григорий Михайлович, уже с трудом передвигавшийся, почтил его память, придя со своей любимой женой. И уделил тогда много внимания и тепла девочке, моей дочке. Я замечала, что его всегда любили дети. Он их уважал, говорил с ними на равных, а они, наверное, ценили его открытость и непосредственность. К нему притягивали волшебное созидающее начало, сильнейшая неутомимая любознательность, кипучая, неуёмная натура. Когда я была ещё девочкой, я услышала от него: «Человек должен 6 часов спать, а 18 часов — думать, работать, действовать всячески». С ним мне всегда было интересно.

Не могу не написать хоть немного о Володе, с которым мы близко дружили и чья безвременно прерванная судьба легла страшной печалью на светлую душу Григория Михайловича.

Все люди неповторимы, если всмотреться глубже. Если самого стандартного и недалёкого, примитивного человека чем-то очень задеть или увлечь, можно будет поразиться тому, что в нём проснётся, какие тайны расцветут. Но неповторимость Володи отличалась особой остротой. Не похожая ни на кого и ни на что, необычная интонация жизни. Стихи его выражают полностью сущность мышления. Свои стихи он мог не только петь, но и танцевать. Он

тончайшим образом чувствовал любой юмор, он был просто гением парадокса. Однажды у меня в гостях он заметил грустное расположение моей мамы. Я-то знала, что оно не просто грустное, а тягостно-глубокое, обычно хорошо скрываемое под маской иронии. Володя устроил со мной танец-экспромт, танец-издёвку, невообразимо смешной: слова необозримо-мрачные он сопровождал такой улыбкой, которая была бы уместна в дурашливой компании у пивного бочонка. Темп с замедленно угрожающего менялся на дикую, резкую эксцентрику. Это зрелище могло поднять мертвеца из гроба. Опишу начало:

Давай с тобой поговорим
Об ужасах ЧК... —

с мрачным дружелюбием предлагал Володя. Потом он резко вскидывал руки, переходя на быстрый фокстрот, ритмично пританцовывая и вовлекая в танец даму (то есть меня) и, кружась, напевал с небесной лёгкостью:

Об ужа-сах!
Об ужа-сах!
Об этих самых ужасах!..

Я никогда в жизни больше не слышала такого хохота, каким моя мама наградила этот номер. Она была явно выведена из депрессии. И столь легко, тактично и красиво и как бы незаметно. Сам человек очень ранимый, Володя мог тонко ощутить чужое настроение. Нервный, чрезмерно впечатлительный, он всегда избегал громких и слишком определённых проявлений. Он умел находить ценности там, где их никто другой не видел. И даже в самом прямом смысле.

Однажды моя соседка была поражена, увидев неподалёку от дома (долгое время мы с семьёй Левиных жили на соседних улицах) Володю, стоящего очень капитально в центре помойки и плодотворно откладывающего в сторону не заинтересовавшие его экспонаты, предварительно дотошно им изучаемые. Я успокоила соседку, я знала, что происходит. Незадолго до этого он рассказал мне, что как-то, проходя мимо одной свалки, заметил страницу письма, потом ещё одну, ещё. Цепкий, наблю-

дательный взгляд человека, привыкшего годами во что-то вчитываться (он работал много лет в библиотеке) и вечно видеть перед собой нечто написанное, заметил какую-то необычность в почерке, в манере письма. И что бы вы думали? — Он спас от гибели переписку известных старых артистов, предложил её в театральный музей, не знаю, с каким успехом. В другой раз он нашёл икону.

Чуткости он был острейшей. Моя совсем маленькая дочь попала в больницу, он не успел узнать об этом и зашёл в гости запросто, как всегда. Увидев пустую кровать, он стал озираться во все стороны с глубоким отчаянием, повторяя: «Где она? Где? Где девочка?» — и заплакал. Я даже испугалась. А ведь он видел её всего раз в жизни и, посмотрев в её глубоко серьёзные, огромные карие глаза, он сказал: «Она — божественна».

Он умел быть беспечным, совсем беспечным, сливаться с природой, улетать в лёгкость, вдруг — ни от чего не зависеть. Был иногда одновременно многим сразу. Наверно, он был бы гениальным актёром театра абсурда. Был непредсказуем. Его могли невероятно волновать какие-то неуловимые вещи. Была «цепь ассоциаций как пчелиный рой» — это слова его песенки. Тайна чужого имени могла его терзать часами. Что стоит за тем, что человека именно так называли? То, что стряслось 30 лет назад, он вдруг вспоминал и срочно звонил по этому поводу.

Застенчивый от природы, добрый, музыкальный, любящий детей и близкий к ним и очень мало кем-то разгаданный, уязвимый, очень умный и цепко наблюдающий мир Володя... Жаль, что нет возможности полнее написать о нём. Я так и слышу его голос в его стихах:

Все мы свободны
И все мы отважны,
Двое нас, что ж,
Умираем мы дважды,
Видишь ты сон,
Тень мечты золотой,
Спой мне стихи,
Протанцуй их, друг мой.

Такой был сын у человека чистой души и горячего сердца — Григория Михайловича Левина. Талантливый сын и неповторимый.

Когда Григория Михайловича не стало, на его панихиде до последней степени ясно осозналось: человек прожил жизнь, отдавая её другим.

Я позволю себе закончить мои воспоминания (которые на самом-то деле никогда не окончатся) посвящённым ему четверостишием:

С людьми поступившая плохо,
Влюблённая в денежный звон,
Я думаю, эта эпоха
Не стоит такого, как он.

«Нет у поэта отчества»

*Из выступления на вечере памяти Г.М. Левина
в ЦДЛ 25 октября 1997 г.*

МЫ отмечаем 80-летие человека, которого с нами нет. У меня нет уверенности, что он услышит то, что мы говорим. Мы собрались потому, что эта встреча очень важна для нас самих.

Григорий Михайлович при жизни не был Григорием Михайловичем. Вся литературная Москва, все ученики называли его за глаза «Гриша Левин». Это был человек, который, к сожалению, три года назад сумел умереть, но так и не сумел состариться. Сколько он жил, он жил как человек молодой. И слова Вознесенского «нет у поэта отчества» к нему относились, может быть, в большей степени, чем к любому из его современников.

Это была фигура редкой яркости, фигура, по-своему загадочная. Он один сделал то, что может сделать целый институт. У Гриши не было кабинета, не было секретарши, не было шофёра, его не вызывали в ЦК, и он сам туда не ходил. У него не было постоянного помещения, и его гоняли с одного места на другое. Но если собрать книжки всех его учеников, это будет не просто библиотека — это будет литература. Ведь у Гриши либо занимались, либо приходили и были гостями люди, имена которых сейчас известны всему белому свету. Даже великий поэт наш Булат Окуджава посещал «Магистраль» и тоже был учеником Гриши Левина. Другой его ученик удостоился огромной «чести»: его стихи на память произносил генеральный секретарь ЦК КПСС. Вы помните песню о космонавтах, автором которой был Володя Войнович, тоже Гришин ученик? Вот такой диапазон.

Мне не довелось стать учеником Григория Михайловича, но повезло одно время быть его подчинённым. Дело в том, что в то время всякий безработный голодный литератор подрабаты-

вал ответами на письма. Я тоже подрабатывал таким образом в «Литературной газете» у моего соученика по Литинституту Вити Виноградова. Он мне давал всякие стихи, рассказы графоманов, а я на них отвечал — чем больше, тем лучше, потому что за это прилично платили. За каждого поэта-графомана я получал 70 копеек, а за прозаика — целый рубль. Я помню прекрасно, что это была за работа. Все творческие люди ненавидели литконсультантов. Николай Глазков даже посвятил им строчки: «...потому что очень неприятно/ тратить время на такой журнал,/ где тупой ответ литконсультанта/ заменяет светлый гонорар». В «Литгазете» я как раз и производил эти тупые ответы, выступая в роли гонителя «разумного, доброго, вечного», и, очевидно, тоже пользовался ненавистью авторов, хотя... всё-таки думаю, что нет. Потому что у меня была своя метода: я начинал так: «Дорогой товарищ такой-то! Спасибо за письмо. Ваши стихи продиктованы добрыми чувствами...» Потом указывал на какие-то недостатки, а в конце обязательно писал: «Присылайте свои новые вещи». Писал не бескорыстно, а потому, что, чем больше графоманов отвечало, тем больше я получал рублей или там по 70-80 копеек, что тоже было хорошо.

Но потом Виноградов ушёл в отпуск, и на его место на месяц пришёл Гриша Левин. И, знаете, как раньше помещики покупали имение вместе с крепостными и челядью, так и Грише досталась челядь в моём лице, в единственном числе. Я продолжал заниматься своим делом уже под руководством Гриши и очень быстро почувствовал ужасную для себя разницу. Витька Виноградов относился к этой работе со здоровым цинизмом и только иногда говорил мне: «Слушай, что-то очень короткое письмо — неудобно давать в бухгалтерию. Постарайся, чтобы хоть одна строчка переходила на вторую страницу». Я постарался. Я не стал писать длиннее, а сделал шире поля слева и справа, и потому у меня всегда что-то переходило на вторую страницу. Кроме того, я этой работе обязан тем, что у меня сейчас очень красивая и крупная подпись. Какая-то психологиня даже сказала, что у меня, наверное, мания величия, наполеоновский комплекс, потому что такая огромная подпись. А на самом деле, если ответ занимал треть страницы, то оставшиеся две трети заполнял мой росчерк. И ещё я дату внизу ставил.

Получалось, что это как бы такой хороший ответ, который стоит семидесяти копеек.

И вот стопку таких ответов я принёс Грише, и вдруг, к моему ужасу, он их стал читать. А потом стал читать письма графоманов. Однажды какой-то злобный графоман написал очень мерзкое, грязное письмо, и я спросил Гришу: «Ну, а с этим что делать?» Он внимательно всё прочитал и сказал: «Я ему отвечу сам». Когда я пришёл в следующий раз, Гриша вслух, с выражением, стоя прочёл мне блистательную публицистическую статью на пяти страницах, которая была хороша всем, кроме адресата. Перед такой свиньёй не стоило метать бисер. Но Гриша относился к своему делу настолько серьёзно, что метал.

Для меня навсегда осталось загадкой вот что: каким путём ему удалось вырастить такое количество очень ярких талантов? Это же почти немислимо! Что за секрет? Недавно был вечер очень талантливого Гришина ученика Саши Аронова, и мы вспоминали: работал в «Московском комсомольце» некий Борис Евсеевич Иоффе — Саша его назвал в числе своих учителей журналистики. А поскольку я туда Сашу пристроил по той же причине, по которой сам отвечал на письма — Саше кушать хотелось, то я с большим интересом выслушал, что же это была за педагогика. Борис Евсеевич не был сильным журналистом, но имел кучу великолепных учеников. Однажды Саша своими глазами видел, как Борис Евсеевич топтал ногами гранки, крича на автора, что стыдно писать столь бездарно. Я не видел, чтобы Гриша когда-нибудь топтал ногами стихи, но по нескольким своим приходам к нему на литобъединение помню, что он был к авторам совершенно беспощаден. Он был очень добрым человеком, но так серьёзно относился к поэзии, что сейчас о нём можно было бы сказать: он был экстрасенс, который передавал свою энергию ученикам. Во всяком случае, я буду очень рад, если его ученики постараются ответить на вопрос: что же такое в нём было? Нельзя допустить, чтобы пропал такой поразительный опыт и остался неразгаданным секрет его таланта.

Гриша был человек абсолютно неповторимый. Его можно было назвать и мудрецом, и городским сумасшедшим. Его можно было назвать и учителем жизни, и учителем литературы, и чудачком. В нём было сочетание несочетаемого. И если бы удалось определить,

что же такое в нём было, может быть, кто-то поднял бы оброненную им дирижёрскую палочку. И ещё такая просьба. Он был необычайно творческий человек, и хотелось бы, чтобы в этом зале прозвучали стихи, потому что Гриша очень много отдал стихам.

У него была очень непростая жизнь. Я помню, когда закрывали «Магистраль», я в «Литгазете» статью об этом написал. К сожалению, она не помогла Грише — его всё-таки изгнали из Дома железнодорожников. Но она помогла трём десяткам других литобъединений по стране: все говорили, что это написано про них, хотя имелась в виду именно «Магистраль». Гриша не был дипломатом. Он пытался спасти «Магистраль», но у него была одна не совсем обычная человеческая черта. Как правило, в рискованные моменты в нормальных людях просыпается инстинкт самосохранения и подсказывает, как себя вести, а в Грише в такие моменты этот инстинкт засыпал, и он совершал поступки, которые можно было назвать и геройскими, и безрассудными, и даже глупыми. К нему можно было обратиться знаменитый детский вопрос: «Тебе — надо?» Не факт, что ему было надо. Зато как это надо нам!

Он был среди нас

ОН ЛЮБИЛ ЛЮДЕЙ, и люди любили его. Он был Поэтом, Учителем, Другом для всех тех, кто имел счастье быть рядом с ним. Он был добрым человеком. Придёт, бывало, начинающий поэт с тощей школьной тетрадкой, читает стихи. Разбор стихов был всегда доброжелательным, даже если стихи были явно слабы. Григорий Михайлович находил удачную строфу или хотя бы одну строчку и восклицал: «Так мог сказать только истинный поэт!» И нередко случайная удачная строка становилась тем зёрнышком, из которого заботами учителя вырастал скрытый дотоле талант. Чем выше был уровень поэта, тем придирчивей была критика. Учитель хотел, чтобы ученик стремился максимально развить потенциальные возможности своего дарования.

Не всё в нашей жизни было гладко. Приходит иной раз Григорий Михайлович на занятия, а на нём лица нет и винцом попахивает. Не глядя на нас, призывает писать на «железнодорожную тему». Мы занимались в ЦДКЖ, и начальство считало, что если уж не все мы железнодорожники, то наш долг — хотя бы писать на «железнодорожную тему».

В другом месте, где нас приютили, предлагалось писать на «рабочую тему». Рабочих среди нас было мало, всё больше интеллигенция да служащие. Как писать на тему, которая не вдохновляет!

Случались доносы. Григория Михайловича куда-то вызывали, ему приходилось перед кем-то оправдываться. Раньше в народе считали, что доносчикам полагается первый кнут. Но времена изменились. «Не-донсчика» могли посадить за решётку. Григорий Михайлович страдал от человеческой подлости, неблагодарности. «Как они могли!» — дивился он, и на глазах у него были слёзы.

Спасало творчество. Григорий Михайлович мог позвонить среди ночи и радостно сообщить: «Я только что написал новые стихи. Сейчас я их прочту». Времени он не замечал.

Григорий Михайлович продолжал вершить труд учителя, труд, который был делом его жизни. Иуды всё-таки были в меньшинстве. Наша «Магистраль» была дружным творческим коллективом, её участники становились друзьями на всю жизнь...

Вспоминаются наши занятия, совместные выступления, новогодние вечера, встречи с любимыми поэтами, многие из которых были воспитанниками Григория Михайловича.

Григорий Михайлович имел редкий дар привлекать к себе самых разных людей, необязательно поэтов. Однажды он попал в больницу. Там, в многоместной травматологической палате, стоял густой мат. Люди мучились от боли, а к молитвам они не были приучены. «Ребята, — сказал Григорий Михайлович, — я хочу почитать вам Есенина». И весь вечер он читал наизусть стихи. Люди преображались, их лица светлели, мат притих. Поэзия и мат — две вещи несовместные. Нянечка спросила меня: «Вы к дедусеньке? Спасибо ему. Охломоны-то присмিরели».

Вспоминается другой случай. Как-то раз мы (трое магистральцев и Левин) вышли из ЦДЛ. Куда-то мы торопились, и Григорий Михайлович остановил проезжавшую машину. Мы сели, и Григорий Михайлович долго и увлечённо говорил о поэзии, о жизни. Оказалось, что слушали его не только мы, но и водитель. Когда мы остановились и Григорий Михайлович вынул деньги, чтобы расплатиться, водитель воскликнул: «Как я могу взять деньги с такого человека, как вы!» — и отстранил его руку.

...В гробу он был величественно красив. Вокруг толпились многочисленные ученики, родные, друзья. Вдруг заиграла тихая музыка, неожиданная для данной ситуации. Звучала «Песня Сольвейг» Грига, которую он любил. Это был его прощальный привет нам, живым.

Нет с нами Григория Михайловича, нет многих наших дорогих друзей. Но остался дух «Магистрала», нечто метафизическое, не поддающееся ни тлению, ни забвению. «Магистраль» жива, и дай Бог ей многая, многая лета...

Около двух часов ночи звонит телефон. В ещё не проснувшемся сознании просверк мысли: это Григорий Михайлович!

В трубке незнакомый голос: «Простите, я, кажется, ошибся номером». Наверное, это был поэт.

Жил на свете рыцарь бедный

ГРИГОРИЙ Левин воплощал эти известные черты поэта — был беден, даже безнадежно нищ в быту, царственно не замечая этого, был рыцарем поэзии — «одной, но пламенной страсти». Он и внешне походил — своей лёгкой летящей фигурой, белыми развивающимися космами, в плаще — на старого поэта из «Снежной маски» Блока, андерсеновских сказок, нордических мифов. Все его звали «Гриша». В нём было что-то от «блаженного Гриши».

Его имя я узнал из альманаха «День поэзии», первой ласточки оттепели после тоталитарных морозов. Мне тогдашнему, с высокомерным презрением относившемуся ко всем иным стихам, кроме Пастернака, вдруг врезались в память искренние, вешние, безыскусные строки: «На привокзальной площади ландыши продают». И даже пастернаковская рифма «проваландавшись — ландыши» не могла испортить впечатление свежести и непосредственности.

Он вёл «Магистраль» — самую интересную поэтическую студию той поры. Читать там было и прекрасно, и опасно. Помню тогдашних магистральцев — похожего на кудрявого лицеиста Александра Аронова, Евгения Храмова, Нину Бялосинскую. Всех их озаряло нищее самосожженчество Левина. Бескорыстие его. Некоторые, покинув гнездо, становились и конъюнктурщиками, и агрессивными завистниками. Но присутствие мэтра гасило в них низменные качества. В «Магистрале» они были поэтами.

Он был максималистом. Порой это всё губило. Но и в этом он оставался поэтом.

Однажды, помню, Ярослав Смеляков ввёл меня в редколлегия «Дня поэзии». С тех пор я зарёкся и отказываюсь от всех редколлегий. Но тогда, во время надежд, казалось, что можно что-то сделать. Помню первое заседание, оно было публичным. Тогда

удалось пробить стихи Дмитрия Сухарева о севере, экспериментальную поэму авангардного мэтра. Но мне хотелось дать дорогу абсолютно неизвестным. Я позвонил Грише Левину и попросил прислать стихи магистральцев. На следующий день передо мной лежали две тугие папки с матерчатыми завязками, наполненные стихами. Меня поразили стихи о горящих газовых комфорках, похожих на васильки. Я отобрал ещё пять авторов. Наутро мне позвонил Гриша. «Как, только пять? — спросил он. — Я сейчас к вам еду». Мы просидели с ним целый день. Не дискриминируя ни одного автора, он влюблённо доказывал, что каждый достоин печати. На следующий день я отобрал ещё десять. Гриша Левин приехал ещё раз. Всё кончилось тем, что почти целая папка легла на стол Смелякова. Вы можете догадаться, что сказал и о стихах, и о Грише Ярослав Васильевич. Не буду изумлять читателей ненормативной лексикой. Гриша, помню, был сокрушён. Он переживал страшно, понимая, что всё погубил. Но — он остался поэтом.

В каждом поэте должно быть хотя бы немножко Гриши Левина.

Помню одинокую, с белыми патлами фигуру сухого Арагона, идущего по ночным Елисейским полям. Мне вдруг показалось, что мелькнул профиль Гриши Левина. И в Арагоне — на закате его дней — прорезался этот нищий, самосожженный абрис поэта.

Мне стыдно, что до сих пор я не знаю его отчества.

Марк Богославский

МЫ ВАМИ БУДЕМ

О книге стихов Г. Левина

«**М**Ы ВАМИ БУДЕМ». Не «я» — «мы». Поэт подчёркивает свою причастность к тому уже ставшему легендой поколению, которое выдвинуло из своих рядов, как знамя выбросило, подняло над своим серошинельным строем Михаила Кульчицкого, Николая Майорова, Павла Когана, Сергея Наровчатова.

У Григория Левина общая с его поколением жизненная линия, те же пристрастия, вкусы.

В самом складе стихотворной речи раннего Левина ощущается железная хватка уверенных в себе молодых подмастерьев, которые жадно вбирали художественные открытия Маяковского, Тихонова, Багрицкого, Сельвинского, но при этом стремились выработать собственную манеру — динамичную, сурово-аскетическую, без каких-либо архитектурных излишеств, допускавшую метафору не так уж часто, но с тем, чтобы последняя действовала взрывообразно.

Мы — вами. В этом вся суть. Всё, чем дышало поколение, вошедшее в литературу в преддверии Великой Отечественной, все эмоциональные бури, сотрясавшие его душу, все молнии, озарявшие его разум, — всё это по праву прямого наследования передаётся идущим на смену. Щедро передаётся. Без отсева. Потому что не только героическая основа, душевный костяк этого поколения, его мужество, самоотверженность, его влюблённость в революцию, его устремлённость в коммунистическое грядущее, но и его юношеская задиристость, ершистость, безжалостная категоричность, вплоть до готовности резать по живому, если этого требует «железное время» — всё это и по сей день не потеряло своего нравственного обаяния.

«Мы вами будем» — всего лишь вторая книга Григория Левина. В ней отражена работа поэта более чем за четыре десятилетия.

Стихи, собранные в этой книге, рисуют не только личность во всём её жизненном масштабе, но и воссоздают черты эпохи, с которой эта личность срослась всей своей кровеносной системой.

В лирике Левина на первом плане — гражданские мотивы. Но гражданственность эта не противостоит глубинно личностному, ничего общего не имеет с холодной выпретенностью, декларативностью, засильем общих мест. Она вскормлена кровью души, корни её — в нравственном строе личности, в её духовной почве.

В отличие от тех, кто свою принадлежность к великой стране, героическому народу рассматривает чуть ли не как личную заслугу, едва ли не как дворянский титул, поэт знает: «...жизнью, всею кровью Россию надо заслужить».

Родину поэт приемлет в своё сердце в беспредельных её исторических и географических пространствах. Древняя Русь, петровская эпоха, Россия екатерининских времён, бурная наша современность; Украина, Урал, Грузия, Армения — вот среда его духовного обитания.

Неудивительно, что с древними городами России: Владимиром, Суздалем, Новгородом — поэт говорит, как с живыми, мучительно близкими ему существами, с которыми он переплёлся корнями своей души.

Вся ты на мне отпечталась —
как Божий лик на холсте.
Вся на моих ладонях
и на губах и на сердце.

Эти слова, обращённые к любимой женщине, поэт мог бы с той же степенью искренности обратиться к родной природе, к истории России, к своей эпохе.

Личную судьбу свою он не мыслит в отрыве от судьбы Родины. Размышляя о великих, гордых, трагических событиях отечественной истории, поэт вместе с тем — и это у него естественно, как дыхание, — решает трудные вопросы своего личного бытия, причём не только в плане гражданском, философском: он выясняет, уточняет свои взаимоотношения с любимой.

К постижению мира и человека поэт идёт самым надёжным путём — путём любви. Как влюблённый вчувствуется в близкого ему

человека, вбирая в себя его тревоги, боли, надежды, так вчувствуется поэт в историю, народ, современность.

Книга стихов «Мы вами будем» не из тех, которые при первом же знакомстве ошарашивают своей громогласностью, непривычными, тревожащими словесными красками, неожиданностью лирических поворотов. В эту книгу надо вглядываться, как в человеческое лицо, улавливая каждую перемену, каждое новое выражение, — и тогда вы в полной мере ощутите обаяние, излучаемое большой, чистой, щедрой душой.

Есть у этой книги «лица необщее выраженье». В оркестре поэтического поколения, к которому принадлежит Левин, его стихи звучат в лад со стихами Наровчатова, Луконина, Слуцкого, Самойлова, но в то же время обладают своей неповторимой тональностью. Однажды расслышав этот мягкий, глубокий звук, попав под его обаяние, вы потом без особого труда будете различать его, откликаться на него.

Позвоню тебе, пробормочу...
Мне бы только голос твой услышать.

Или с ещё более ощутимым тёплым, грудным звуком:

День не потерял, я тебя увидел.
Не предал этим никого, не выдал
.....
Не обокрал, не предал никого.

В поэтической манере Левина бросается в глаза противоборство двух стихий, двух традиций: стиха, ориентированного на разговорность, на прозаическую приземлённость, угловатого, рваного, задиристо спорящего с гладкописью, и стиха музыкально облагороженного, тяготеющего к классической гармонии.

Но особая, неповторимая, «левинская» интонация возникает как раз тогда, когда поэт сворачивает с традиционных больших дорог на малохоженую тропу: когда в разговорную интонацию — не пафосно-ораторскую, а исповедально-доверительную, как при разговоре с глазу на глаз, врывается некое придыхание, голос понижается, сечётся, речь переходит чуть ли не в шёпот, бормотание, и тут внезапно налетает песенный ветер. Забы-

ты Сельвинский, Ахматова, но живо напоминает о себе ранний Тычина.

Пожалуй, особенно подкупают модуляции этого сильного, гибкого голоса в таких стихотворениях, как «Весенняя ночь», «Тёплым светом изнутри затеплена...», «Мы высокие оба с тобою...», «Имя в моей жизни роковое...» и, конечно же, в ставшем уже чуть ли не хрестоматийным «Ландыши продают».

Время будет работать на эту книгу трудной судьбы и сложной поэтической культуры. Многие из её стихотворных строк войдут в постоянный обиход «читателя стиха», закрепятся в памяти — и тогда присущие им психологическая тонкость и точность, выстраданная глубина, душевная сила и душевная мягкость раскроются в полной мере.

Ему обязана...

Я ПОПАЛА к Г.М. Левину, в литобъединение «Магистраль», когда ещё училась в школе, классе в восьмом или девятом. Меня привела Лена Шувалова.

Григорий Михайлович спросил: «Чему обязан?» Лена сказала: «Она — пишет». Он: «Что ж, посмотрим... Где стихи?» Я: «Я пишу прозу». Григорий Михайлович: «Прозу?! В вашем возрасте?!»

Многие школьницы моего возраста в то время — год 1965-й — увлекались писанием трагических любовных стихов. А я писала сказки о предметах, вроде «Сказки о старом платье», и ещё что-то в таком же роде, несусветное... Но Левин взял почитать. Кстати, потом так и не вернул. Сказал, чтобы я приходила на занятия.

И я стала ходить в ЦДКЖ. Сидела и слушала всех и всё, заморожённая. Особенно восхищали меня свойства памяти Григория Михайловича, его способность безошибочно цитировать наизусть почти всех поэтов Серебряного века, не говоря о современных. Его чувство слова, ритма, вкус, способность увидеть в очень средних стихах искру таланта меня поражали. Ему я обязана тем, что не прошла мимо поэзии А. Тарковского, Д. Самойлова, В. Соколова, Б. Окуджавы...

Потом был день обсуждения моей так называемой «прозы». Я тряслась, даже голос потеряла. Но все отнеслись дружелюбно и снисходительно: пусть девочка походит на занятия, послушает старших поэтов, поучится.

И я ходила и училась. Но главным всё равно был Г. Левин. Меня притягивала, как бы теперь сказали, его энергетика, артистизм, внутреннее обаяние при внешней деловитости и суетности. Около него перед занятием — всегда кучка людей: кто-то суёт ему очередные стихи, кто-то просит поскорее назначить день обсуждения, кто-то хочет немедленно прочитать своё...

Но вот все наконец расселись. А Григорий Михайлович вдруг начал занятие с чтения своих «Ландышей». И стало понятно, что не всё для него так просто... Потом была книжка его стихов «Евангельские мотивы» — это уже в 1994 году. А до этого он читал нам стихи из этой книги на одном из занятий. В память об этом на моём экземпляре — надпись:

«Дорогой Мариночке Коржель — другу “Магистрала”, неоднократно запечатлевавшей наши выступления, — на память, на новые встречи и дружбу, нежно обнимаю. Г. Левин».

Я записывала его чтение на плёнку. Голос глухой, печальный, но ещё молодой, энергичный...

Он любил нас, своих подопечных — талантливых и не очень, молодых — и не очень. Всех, кто приходил и уходил. Я, научившись у него многому, постепенно тоже стала «уходить». И он написал мне: «Марине, которая бывала на “Магистрала” в прекрасном былом, на память и с благодарностью». Его благодарностью всегда были стихи.

Как-то мы говорили с ним о книге Б. Окуджавы «Путешествие дилетантов» (Окуджава впервые читал отрывки из этой книги на наших занятиях). Оказалось, что у Григория Михайловича её нет. То ли подарил кому-то, то ли пропала... Я принесла свою. В благодарность получила книгу Г.М. «Мы вами будем» с надписью: «Марине в благодарность за Булата с ожиданием достойных стихов. Г. Левин».

Достойных стихов у меня нет. Но есть память. Вечная память о человеке, который больше 50 лет руководил «Магистралью» поэтов и при этом тосковал от «разобщённого слиянья единой человеческой семьи». Который был Мастером, воспитателем и открывателем поэтов. Подлинным рыцарем высокой поэзии — не побоюсь сказать о нём именно такими словами — и его собственным стихотворением:

Поэзия...
 Но ты живёшь — и мы ещё живём.
 Я свято верую в твоё величие,
 В твою божественную сущность, в право
 Судить — и миловать...

Дом Григория Левина

ЭТО БЫЛО в середине 70-х. Григорий Михайлович Левин был дружен с моим отцом, Михаилом Гениным, и как-то раз через него передал мне предложение прийти на занятие «Магистральной», что я и сделала. Григорий Михайлович ознакомился с моими попытками облечь в рифмы «души прекрасные порывы» и как истинный педагог сначала произнёс нечто ободряющее. Но тут же заметил: «Вы прячетесь за слова, а нужно стараться с их помощью раскрыться!» Его взгляд был снайперским, видящим достоинства и недостатки любого текста мгновенно.

Домом Левина была литература, и только под её надёжной крышей он мог жить полноценно и счастливо. Ориентироваться в жизни вне этого дома ему было непросто. Он часто попадал в трагикомические ситуации, которые если и вызывали у учеников и его друзей улыбку, то непременно в сочетании с восхищением: кто ещё так бескорыстно, не думая о своих нуждах и выгодах, служил слову, помогая войти в литературу многим талантливым людям? Он первым смеялся над собой — смеялся порой до слёз, молодо и заразительно. Такой смех за всю свою жизнь я слышала ещё только у Н.И. Харджиева, писателя, историка литературы и искусства, часто бывавшего у нас дома. Так умеют смеяться только очень молодые люди, полностью, безоглядно отдаваясь смеху — так, как будто в их жизни ещё не было ни настоящего горя, ни непоправимых потерь. Вот только три связанных с Левиным эпизода, которые не забылись.

* * *

Литературное объединение «Магистраль» собиралось тогда под крышей Всесоюзного института научной и технической информации (ВИНИТИ) на «Соколе». Занятия обычно начинались с обсуждения стихов или прозы членов литобъединения. Выступали

два оппонента, а потом в обсуждение включались все сидящие в зале. Итог подводил Левин. Отталкиваясь от текстов обсуждаемого автора, он легко и свободно перемещался по бескрайним просторам словесности. На нас обрушивался мощный ураган цитат, реминисценций, аллюзий, размышлений и воспоминаний. Многие приходили на занятия только ради этих минут, которые, как правило, растягивались до размеров огромной лекции. Невозможно сейчас представить себе, что ни у кого в то время не нашлось даже диктофона, чтобы хоть однажды записать эту блистательную, свободную, полную страстной любви к литературе речь. Увы, левинские лекции сохранились только в нашей памяти...

Конференц-зал был полон. За столом, стоящим в зале, внизу перед сценой, Григорий Михайлович цитировал Маяковского, энергично размахивая руками. Голос Левина звучал всё ниже и становился всё громче, переходя почти в рычание, а стул, на котором он сидел, раскачивался и скрипел всё сильнее. Вдруг ножки стула подломились — и Левин очутился на полу. Зал отозвался взрывом хохота. Но Григорий Михайлович, казалось, даже не обратил внимания на то, что произошло, и с той же страстью продолжал чтение, всё так же размахивая руками. Зал затих, потрясённый. К упавшему тотчас бросились магистралевцы, подхватили его под руки, помогли подняться, принесли другой стул, пока ещё целый, и усадили Григория Михайловича на него. Левин не прервал чтения ни на секунду.

Тут я не могу не вспомнить, как однажды поэт Владимир Леонovich, в юные годы тоже посещавший «Магистраль», в Литературном музее на вечере, посвящённом юбилею Галактиона Табидзе, абсолютно никак не реагируя на внезапно погасший свет, невозмутимо продолжал в полной темноте читать свои переводы. Это длилось довольно долго — до тех пор, пока не заменили перегоревшие пробки. «Школа Левина», — заключили те, кто знал Григория Михайловича.

* * *

Вспоминается и такое.

Левин болен. Серьёзные проблемы с сердцем. В больницу ехать отказался, лежит дома. Он дал врачам обещание, что не будет вставать с постели и что никому не позволит нарушить его покой.

В квартире стоит почти непрерывный звон: звонят по телефону, а то и прямо в дверь, без всякого приглашения. Это ученики Левина, магистралевцы. (Степень бесцеремонности и настырности страждущих попасть на консультацию к учителю почему-то, как правило, была обратно пропорциональна их одарённости.)

По просьбе Инны Ефимовны, жены Левина, я пытаюсь держать оборону в прихожей, но магистралевцы каким-то образом всё-таки просачиваются в комнату, обременённые своими, нередко увесистыми, рукописями. Этому немало способствует левинское категорическое: «Впусти их! Пусть проходят!» — которое доносится из комнаты. Он отказывается понимать, как можно не впустить кого-то, пришедшего к нему на консультацию.

Лицо Григория Михайловича бескровно, голос звучит непривычно тихо. Но вот в руки Левина попадает чья-то рукопись — и... больной выздоравливает! Он садится на кровати и читает вслух. В одной руке у него стихи, другой рукой он размахивает в такт чтению. Его голос становится всё громче, на лице появляется румянец. Я пытаюсь остановить Левина — куда там! Он очень сердится на меня и дочитывает рукопись до конца. После чего в изнеможении ложится — он опять болен, ему трудно дышать...

* * *

Квартира Левина у метро «Проспект Вернадского». В гостях у Григория Михайловича Валентин Дмитриевич Берестов и я. Комната, где мы сидим, проходная. Дверь из неё ведёт в смежную комнату: она совсем маленькая, и все стены её — с пола до потолка — в книжных полках. В середине комнаты — выше человеческого роста — гора рукописей, газет, книг... Это рукотворное чудо создано общими усилиями магистралевцев: год за годом они приносят учителю свои рукописи и публикации. Левин собирается в дорогу — в Болшево или в Электросталь, где он, как и в «Магистрали», ведёт занятия в литобъединениях. Оплачивается эта работа как выступления по путёвкам от Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей. Путёвки лежат в маленькой комнате на одной из книжных полок, справа от двери. Для того чтобы их достать, нужны героические усилия: дверь в комнату возможно только чуть приоткрыть — мешает бумажный Эверест. Левин присту-

пает к выполнению неразрешимой задачи: он должен проникнуть в маленькую комнату и взять путёвки. Мы с Берестовым напряжённо наблюдаем, как Григорий Михайлович, игнорируя свои далеко не миниатюрные формы, отчаянно пытается протиснуться в узкую дверную щель. (Наше с Берестовым предложение о помощи было отвергнуто Левиным сразу и бесповоротно.) Наконец после долгих усилий Левин каким-то чудом всё-таки оказывается в смежной комнате. Тотчас раздаётся грохот, а следом за ним — безудержный хохот Левина: «Произошёл обвал!!!» Это рухнул бумажный Эверест и замуровал выход. «Валентин Дмитриевич! — кричу я Берестову. — Вы же в прошлом археолог! Необходимо срочно провести раскопки и вызволить Григория Михайловича!» Мы с Берестовым бросаемся на помощь. Вероятно, профессиональные навыки Валентина Дмитриевича всё-таки сыграли свою роль: после продолжительной совместной борьбы за освобождение Григория Михайловича из-под завалов творческого наследия его бесчисленных учеников он вышел из комнаты с путёвками в руках!

Конечно, хранить в крохотной квартире такое количество книг и рукописей было невозможно. Ученикам же действительно не было числа. Мало кто из москвичей, пробующих свои силы в литературе, миновал «Магистраль». Поэт Павел Хмара, в прошлом тоже магистралевец, прекрасно написал об этом:

О, «Магистраль» — великая держава,
И из неё в литературный мир
Ушли Войнович, Храмов, Окуджава,
Гомер, Овидий и Вильям Шекспир!
И я теперь уже уверен в этом,
Я в этой мысли затвердел, как сталь:
Когда поэт становится ПОЭТОМ?
Когда его признает «Магистраль»!

Ученики Григория Михайловича разъехались по свету и живут теперь в разных городах и странах. Кто-то из них связал свою жизнь с литературой, кто-то приобрёл профессию, далёкую от литературы. Но всех нас навсегда объединила «Магистраль», объединил наш учитель — Григорий Михайлович Левин, которого мы никогда не забудем и которого нам всем так не хватает.

Последний урок

ПОЭТ, критик, литературовед Григорий Левин главным делом своей жизни считал помощь начинающему писателю. Кропотливая это работа, но и благородная. Им были созданы несколько литературных объединений, бессменным руководителем которых он являлся на протяжении многих лет: «Магистраль», возникшая при Доме культуры железнодорожников, «Медик» при Доме культуры медицинских работников, «Электростальские огни» — в подмосковной Электростали, «Металлист» в Калининграде. Все свои знания и любовь к поэзии он изо дня в день вкладывал в душу каждого из участников этих студий. Он давал индивидуальные консультации и был строгим критиком, требуя полной самоотдачи в творчестве. Но если начинающему поэту удавалось написать по-настоящему сильное стихотворение, Левин всеми силами старался пристроить его в печати. И на всё это хватало у него и времени, и сердца, и доброты душевной.

Я попал в его школу на правах “начинающего”, когда мне было за пятьдесят. Трудно мне давалась учёба, а ему — моё обучение.

По вашему умному я букварю
Учился ночами, встречая зарю.
В час светлых творческих мгновений
Глаголет вам: БЛАГОДАРЮ! —
Ваш «молодой» поэт Евгений.

Во главе с Левиным мы ездили в больницы, на эстрадные площадки, в школы — читать стихи. Григорий Михайлович никогда не отказывался от таких выступлений, тратя на них много энергии и времени, забывая о выходных, покидая свою семью на эти часы. В Подмосковье — в Электросталь, Калининград и другие места — он мчался на электричке, изредка — на машине с ватагой заболевших

поэзией ребят, мчался к людям, неся им радость и надежду. У него совсем не оставалось времени, чтобы работать «на себя».

С благодарностью склоняюсь я перед его талантом, перед подвигом Григория Левина, отдавшего всё без остатка воспитанию учеников, в душах которых зажгётся огонь поэзии. Я вижу в нём гуманиста и просветителя, в ком честь и совесть сочетаются с благородством и высокой нравственностью, в ком милосердное сердце не знает покоя, пока оно бьётся в чудесном мире поэзии...

...В тот день мы увидели Левина в необычном для него положении и состоянии. Он лежал в чёрном гробу под белым покровом, под ворохом самых красивых цветов, какие только можно было достать в это время года. Он лежал с закрытыми глазами, как бы переосмысливая то, что отложилось в его памяти за более чем 75 лет его богатой интеллектуальной жизни, полной труда и поэзии, невзгод и радостей, находок и утрат...

Он был счастлив своим бытием, отдавая всего себя великому делу: служению поэзии, этому храму человечности и любви, любви к ближнему, любви к Человеку — каким он прежде всего и был сам.

Малый зал ЦДЛ был переполнен. Лицо Григория Михайловича изменилось почти до неузнаваемости, но и казалось молодым для его возраста. Седая бородка и усы придали ему новое выражение — ведь это был день, когда Григорий Михайлович простался со своими учениками, последнее наше занятие — с ним. Его голова казалась окружённой светлым ореолом — так изображают художники бессребреников и праведников. И только напутственного слова учитель произнести не мог.

Впрочем, он сказал всё, что хотел, но только мы не всё делали так, как ему хотелось. И всё же чаще его слово было брошенным в землю зерном — тем, что упало на добрую почву и дало богатые всходы.

Он мало издал своих книг, но у него были сотни других, написанных его учениками, — их следует считать и его книгами: в них вложена его душа, он боролся за них, сколько хватало сил.

Он был вне большой политики, не бегал по собраниям, совещаниям и митингам, не бросался словами — каждое у него было на вес золота. Поэзию же нёс в руках, как букет тончайших цветов. Он верил, что она дарит людям радость, любовь к жизни.

Исполнен труд

ГДЕ-ТО задержался катафалк, и это дало повод кому-то из нас пошутить: Левин опаздывает на собственную панихиду. Трагическому сознанию сопутствует шутка, не всегда кстати, но на сей раз она выражала смысл происходящего; кто-то добавил, что Григорий Михайлович отказался умирать и вообще всё это розыгрыш. Сейчас появится Никита Богословский и объяснит, кто именно покойник.

Однако в вестибюль ЦДЛ внесли гроб, и лежал в нём не тот, по ком скучает откупленная земля Новодевичьего, — лежал наш учитель. «Он сделал меня», — накануне сказал мне Булат Окуджава, а я вспомнил какое-то из писем Ван Гога: художник тосковал, что не может лепить души, как делал это Христос, без всякого посредства. И вот — приходится рисовать...

Многих из нас Учитель — пишу с большой буквы — вылепил. Непосредственно, тёплыми и сильными своими руками.

Пока гроб проносили, Белла Ахмадулина продолжала рассказывать о волшебном подаренном ей шарике, и не было того, что зовётся скорбной тишиной, и, кажется, это никого не удивляло.

...Когда хоронили Шаламова, которого Колыма всё же «достала» и уморила — как теперь «достаёт» Жигулина, — тоже не было давящего всех скорбного чувства. Потом я понял, почему: исполнен труд, завещанный от Бога. Исполнен. Великая редкость! Тогда показалось, что каторжные кандалы, каторжные нравы уже зарыты глубже, чем тело того, кто их проклял... Но в истории как в семье — не без уроды. Есть мародёры, что выкапывают именно эти ржавые кандалы: ещё пригодятся.

Лет 30 назад по вдохновенному, иначе не сказать, доносу и указанию сверху была разогнана «Магистраль» первого состава.

* У Пушкина: «Исполнен долг».

Идеологические надзиратели уличили тогда в пошлости одного поэта, теперь всемирно известного, и в порнографии — другого... С чем сравнить удар, нанесённый Левину? Оболгана и упразднена была студия, которой всего себя отдавал Учитель. Ударено по рукам, наплёвано в душу... О, я помню того Левина, до-разгромного. Это был вместе красивый и прекрасный, ладно сложенный высокий человек с мгновенной реакцией на любую реплику — и надо было дивиться той внутренней стройности, что давала форму рвавшейся наружу страсти. Мне трудно сказать, что именно воспитало такую душу. Пусть скажут другие. Мы же пришли «на готовое», мы пришли к Учителю — и благословен да будет час, когда это случилось.

Какое-то голубоватое сиянье — его цвет — начинало его окружать, когда, завершая какое-нибудь обсуждение, легко коснувшись слабых мест обсуждаемой вещи (подробный анализ делал он на консультациях, один на один с автором), он находил в ней счастливое место, некий трамплин и взмывал в родную ему стихию. И не один — вас он брал с собою в сияющую высоту. При этом видели вы и масштаб разбираемой вещи в пространстве, которое ширилось и отзывалось великими именами, и, главное, этот простор, эти отзывы вас обращали к себе самому, к замыслу вашего появления на свет Божий, и тогда вы могли себя спросить: равен ли я этому Замыслу? Этому Назначенью?

Левин будил в нас отрочество. А лучше сказать — первую любовь к миру с её святыми обетами —

И подросток, ликуя, на страшный идёт эшафот...

Никому в голову не приходило записать на плёнку левинские импровизации. Это не были устные статьи. Это не была проповедь, ведущая за собой паству. Это не была ораторская речь... Это было всё сразу... Это был Левин! Постепенно он поднимался из-за стола, то есть его поднимало... Время от времени правая нога, отрываясь от пола, делала резкое футбольное движение. Быть может, так отталкиваются от земли? Уместными становились взблёскивающие окуляры, его картавое «р», становящееся горловым клёкотом, его голубая седина...

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять — а не имею любви; то я ничто (ап. Павел, Коринфянам, гл. 13).

Здесь его простая тайна. Не забуду, не перестану слышать, как он читает Пастернака:

Спи, царица Спарты,
Рано ещё, сыро ещё...

Он напомнил нам, что такое жалость, что такое умиление, благоговенье, что значит лелеять и боготворить... Так называемая жизнь вытаптывала эти чувства, словарь утрачивал их, и порой высоколобый филолог ставил своё клеймо «арх.» либо «уст.» на том, чего для толпы действительно не существовало. Нам чувство дико и смешно... В такое именно ущербное время, обесчеловеченное войной и тиранией, появились левинские «Ландыши». Стихи захлёбывались от радости — подарить, от умиления чистотой и хрупкостью цветка. А ещё — от дикого сознания, что рядом, на привокзальной площади, где в Доме железнодорожников нашла приют «Магистраль», торгуют собой несчастные женщины. Тогда — с опаской, теперь — открыто. Рынок. Почём — свежесть? Почём — нежность?

Как-то я на всё лето увёз в карельскую свою деревню целую папку неизданных стихов Григория Левина. Он был болен, Инна (жена Г.М.) попросила меня подготовить рукопись к печати. Да простится мне эта игра слов, но я доподлинно узнал, почём нежность. Писал эти стихи человек без кожи, писал их безоглядно, словно отрок, поражённый первой страстью. Тут она была — последней. Я оказался при исповеди дорогого мне человека — едва ли не душеприказчиком его. Человек, искушённый в тонкостях поэтики, словно отказывался знать, как они пишутся, стихи.

Дай запру я твою красоту
В тёмном тереме стихотворенья —

на это не было и намёка. Была светёлка. Всё было светло, прозрачно и до невозможной степени открыто. Так теперь не пишут... Поэта Григория Левина мы ещё не знаем... Вот что я твердил себе в то левинское лето.

В последние свои часы, уже прощаясь с сознанием, он всё порывался, всё спешил куда-то, уже бессвязным криком подымая с постели обитателей соседних палат.

У Григория Михайловича был прекрасный ученик и друг — покойный Владимир Львов. Где-то он написал:

Неуступающее тело,
Обуреваемое мной! —

нечаянный эпитаф к жизни полной и страстной, подвигаемой умной и зоркой волей — к правде, к добру.

ЕГО ДЕРЖАВА

Свою последнюю книгу стихов «Евангельские мотивы» Григорий Михайлович Левин посвятил памяти безвременно умершего сына, поэта Владимира Ивелева. На вечере в Доме литераторов, где книга была представлена, поэт и магистралец Владимир Леванский, прочитав стихотворение Ивелева, которое заканчивается словами: «Сын за отца не отвечает, / А кто ответит за отца?» – сказал: «Мы все ответим за отца».

Литобъединение «Магистраль» — Магистраль Поэтического Бума

Из книги «У вечности в гостях»

ТАКОГО ВЗЛЁТА поэтического творчества, всеобщего интереса к поэзии, кои пережила страна Советов в конце 50-х — начале 60-х, пожалуй, не знала история.

Своих неутомимых, вдохновенных сочинителей страна знала и любила. Они были не менее популярны, чем знаменитые киноактёры и нынешние поп-звёзды. Большие и малые залы, где проходили поэтические вечера, были переполнены. Даже огромные Дворцы спорта не могли вместить всех желающих. Для наведения порядка порой привлекалась конная милиция, как на футболе. Поэтические сборники, не говоря о солидных ежегодных «Днях поэзии», стремительно исчезали с прилавков.

Интерес к поэзии, всеобщее увлечение ею, то, что мы назвали поэтическим бумом, было великим праздником души. То, что продолжалось несколько лет и что, вероятно, никогда не повторится.

Непрерывным поэтическим праздникам сопутствовала тяга многих людей к творческой учёбе. По всей стране, в каждом городе и населённом пункте, чаще всего в клубах, или при библиотеках заработали литкружки и творческие студии. Людям, пробующим себя в поэтическом творчестве, крайне необходимо общение с такими же пишущими, как они. В Харькове, где я жил, не было Дворца культуры, где бы не работали литстудии. Я, ещё молодой литератор, выпустивший первые книжечки стихов, попробовал себя, ведя литкружок в ДК трудовых резервов. А потом много лет руководил одной из ведущих студий города при ДК строителей им. Горького. Борис Чичибабин, уже широко извест-

ный поэт, возглавлял литстудию в ДК связи. Были студии и при крупнейших заводах.

Но мой рассказ — о знаменитом на всю страну литобъединении «Магистраль», работавшем при ДК железнодорожников в Москве. Здесь судьба свела меня со многими интересными людьми, ставшими моими друзьями на долгие годы. Откровенно говоря, не помню, как попал сюда, кто привёл или пригласил меня. Помню только, что это было вскоре после поступления в Литинститут. История мальчика из Бреста, рассказанная Смирновым, оказалась известна «магистральцам», они попросили меня выступить, поведать о пережитом. Как раз в эту пору, после поездки со Смирновым в Брест, были написаны первые стихи, связанные с обороной крепости и моими расстрельными потерями близких. Кое-что: «Трубач», «Дерево», «Расстрел» — опубликовали в Литгазете и «Огоньке». Стихи были искренни, не всегда совершенны. Тем не менее «магистральцы» тепло и уважительно приняли меня. Попросту говоря, я стал своим в их коллективе.

На площади Трёх вокзалов, в ДК железнодорожников, что находился сразу за Казанским, в одной из просторных аудиторий еженедельно собиралось довольно много народу. Но, как в любом коллективе, был определённый костяк наиболее активных, одарённых, разных по возрасту и роду занятий людей. Назову некоторых из них. Нина Бялосинская — фронтовая медсестра, ушла на фронт, едва окончив школу, однако стихи по образной системе, тематике менее всего были фронтовыми — раньше других начала печататься, издала первую и на долгие годы единственную книжечку стихов «Дорогой мой человек».

Ещё вспоминаю живого, кудрявого, активного в общении и встречах юного Сашу Аронова. Позже он стал отличным журналистом, работал в «Московском комсомольце», издал книги стихов, ярких и темпераментных, замеченных читательской общественностью.

Познакомившись в «Магистрале», многие годы встречался и дружил с юморным, жизнерадостным Виктором Забелышинским, сдержанным и серьёзным Виктором Гиленко, резким, непредсказуемым Мишей Садовским, издавшим много стихотворных и пе-

сенных сборников. Вспоминаю Эльмиру Котляр, тогда оригинальную детскую поэтессу.

Не системно, но достаточно часто появлялся на студии превосходный военный, и не только, поэт Николай Панченко. Его многолетняя творческая жизнь заслуженно отмечена солидными поэтическими изданиями.

Среди студийцев была и внучка немецкой революционерки Клары Цеткин, поэтесса Генриетта Миловидова.

А сейчас о том, кто руководил «Магистралью». Григорий Михайлович Левин — человек широчайшей эрудиции и образованности, отдававший всего себя делу воспитания молодых литераторов. Энергия и темперамент, с которыми он занимался этим, поражали. Каждое обсуждение на студии, литконсультация, каждое устное выступление, публикация в прессе, даже самая незначительная, были исполнены страсти, широты, абсолютной самоотдачи. Возможно, кого-то это даже шокировало. Но по-другому Григорий Михайлович не мог. Как-то Светлов, известный своими ироничными характеристиками и замечаниями, назвал Левина провинциальным Маратом.

Григорий Левин, действительно, приехал после войны в Москву из провинции, а точнее, из Харькова, где в конце тридцатых учился в университете. Жизнь в столице давалась нелегко, не было нормального жилья. Но он и его верная жена-подвижница Инна не придавали бытовым проблемам великого значения. Они были всецело поглощены творческой, духовно-интеллектуальной жизнью. Ютились с двумя детьми в крохотной съёмной комнатухе за городом. Когда мы познакомились, они жили уже в просторной комнате в коммунальной квартире на Мархлевского.

Мне с вышеназванными студийцами довелось здесь бывать неоднократно. Как правило, после занятий в студии, где-то после десяти вечера, отправлялись провожать Григория Михайловича. Шли, продолжая беседовать о литературе и жизни. Не наговорившись, по его предложению заходили в дом и в узком кругу ещё час-другой чаёвничали, читали новые стихи. Иногда здесь появлялись незнакомые интересные люди. Так, именно здесь познакомился с Булатом Окуджавой, услышал его первые песни о трубаче, о Лёньке Королёве, о мальчиках, ушедших на войну. Он приехал то ли из Ленинграда, то ли из Калуги с милой светловолосой моло-

дой женщиной, своей первой женой. Она жила в Москве и очень тянулась к магистральцам, дружила со многими из них. Помнится, мы ездили все вместе куда-то за город, на природу. Она рассказывала о Булате, а мы распевали его песни.

А ещё «Магистраль» мне запомнилась тем, что здесь я впервые увидел и услышал таких выдающихся людей, как Назым Хикмет и Илья Эренбург.

На мёрзлой земле

МАГИСТРАЛЬ ведёт свою родословную с литературно-творческого кружка при библиотеке Центрального Дома культуры железнодорожников. По мнению местного начальства, главной задачей кружка считалось «поднятие идейного стилистического уровня многотиражных и стенных газет на предприятиях, сатирических листков, создание репертуара для коллективов художественной самодеятельности, составление праздничных приветствий». А от руководителя Григория Михайловича Левина требовалось строгое соблюдение «железнодорожности» — участниками коллектива могли быть исключительно работники «стальных путей» или члены их семей. Приходилось выкручиваться: Левину — убеждать чиновников, нам — лихорадочно искать среди дальней и порой даже иногородней родни имеющих хоть какое-то отношение к железной дороге.

Левин вовсе не собирался «учить на писателя». Ему было важно, чтобы мы стали настоящими знатоками литературы, квалифицированными читателями, чувствующими природу образного, нестандартного слова. Это формирование вкуса к изящной словесности на наших занятиях очень ценил многолетний друг «Магистрالی» Арсений Тарковский. Для нас, учеников Левина, было важно научиться тому, что нет ничего нелепее для поэзии, чем табели о рангах, что нет «больших» и «малых» поэтов — есть хорошие и плохие произведения.

Традиционные для тогдашних «лито» формы деятельности как бы обновились от прикосновения к ним Левина — человека с особой концентрацией литературной эрудиции и редкостной, доброй фанатичностью в увлечении литературой. Каждому, кто оказывался в творческой ауре «Магистрالی», хотелось максимально выразить себя, высказаться, выговориться. Кстати, мы были у Левина не одни: он ещё руководил студией «Медик», ездил заниматься с на-

чинающими литераторами в город Электросталь. Колесил в поисках не дополнительных заработков, но одарённых людей. «Талант открыть, как самого себя отрыть, заваленного мёрзлой землёю», — сказано в одном из его стихотворений.

А мёрзлой земли было вокруг предостаточно. Ключевая роль в литературной политике страны принадлежала поднаторевшим в идеологических погромах софроновым и грибачёвым, кочетовым и бабаевским. «Магистраль» противостояла разрушительным тенденциям в литературе и искусстве уже тем, что практикой своей исповедовала право каждого писать так, как ему хочется, право на свободный, неподцензурный разговор при обсуждении произведений. Чуждый комплементарности Ярослав Смеляков публично заявил однажды, что не сумел бы устроить обсуждения стихов на таком уровне в руководимой им секции поэзии Союза писателей. У нас перебивали едва ли не все известные московские поэты, не говоря уж о молодых.

Мы дружили с Назымом Хикметом и испанским поэтом-антифашистом Хулио Матеу. С «Магистралью» недаром была связана творческая судьба таких классных переводчиков поэзии, как Марк Самаев, Михаил Курганцев, Павел Грушко, Инна Миронер. Переводами как делом гражданским, а не только чисто литературным занимались и другие магистральцы. Мы публично высказывали своё отношение к литературным и околотитулярным антисемитам, особенно осмелевшим после успеха борьбы с «безродными космополитами». Мы знали стихи Левина об Армении и Грузии, Прибалтике и Украине, проникались его тоской «от разобщённого слиянья единой человеческой семьи».

«Магистраль» не была объединением диссидентов, и чисто политический криминал в наших молодых речах трудно было бы отыскать. Но тем не менее нас лихорадили бесконечные «проверки», «перерегистрации состава участников», особенно участвовавшие после нашумевшего юбилейного вечера в ЦДКЖ, когда начальство было вусмерть перепугано. И невиданным наплывом слушателей, едва ли не переломавших дверей Дома. И многими стихами. И тем, что, возмущённый требованием о предварительном просмотре его текстов, уже известный Булат Окуджава спел свою песню о дураках, откровенно повернув-

шись лицом к «правительственной ложе», где восседало местное начальство.

Вскоре по районным парторганизациям стали читать какой-то документ из РК КПСС о состоянии идеологической работы в районе, где много внимания было уделено «серьёзным ошибкам в коммунистическом воспитании молодёжи» на занятиях «Магистрали». Через некоторое время наше объединение было из ЦДКЖ изгнано. Кончались 60-е...

Одна большая семья

Г ОДУ В ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОМ Григорий Михайлович Левин пригласил меня в своё литературное объединение «Магистраль». Произошло это так. В Доме литераторов подошёл ко мне высокий, красивый, уже немного седеющий человек, посмотрел на меня внимательно сквозь очки и сказал: «Вы Дина Терещенко, я вас узнал по фотографии в “Юности”. Мне понравилось ваше стихотворение “Другу”, я бы хотел пригласить вас на “Магистраль”». Я, откровенно говоря, понятия не имела, что это такое — «Магистраль», т.к. пять лет жила с мужем в ГДР и только что вернулась. От смущения я спросила: «А что я там буду делать?» Он рассмеялся очень по-доброму, пожалуй, даже не рассмеялся, а широко улыбнулся: «Вы будете учиться!»

Мы сели за столик, заказали какую-то лёгкую закуску и разговорились. Левин рассказал, что следил за моими публикациями с того дня, когда прочитал напутствие к моим стихам Михаила Светлова в «Литературной газете». Слово за слово, он заинтересованно расспрашивал о том, с каких лет я пишу, кто мои учителя и любимые поэты. Поскольку учителей у меня не было, а любимые поэты в ту пору были Маяковский и Тютчев, особого разговора у нас не получилось. Но на занятия «Магистрالی» я стала ходить. Поначалу была смущена: объединение большое, может быть, человек шестьдесят, все такие умные, талантливые и молодые. Я, пожалуй, была старше всех. Робела. Отказывалась читать, не знала, кто есть кто.

Левин оказался неистово-талантливым критиком, всезнающим, интересным человеком, державшим в строгости своих «птенцов». Среди талантливых людей попадались и бесталанные, да и просто графоманы, но Левин умел со всеми ладить. А вот со мной дружбы у него не получилось, не знаю, почему. Возможно, его, как и некоторых других, раздражало, что я жена офицера,

«полковничиха», приехала из Германии, хорошо одета, как бы «благополучная дамочка», хотя я изо всех сил старалась быть «как все»...

Душою магистральцев была Нина Бялосинская. Мы относились к ней с уважением и любовью. Я познакомилась с Наташей Астафьевой и Элей Котляр, Леной Аксельрод и Сашей Ароновым (который сходу стал за мной ухлёстывать), Володей Войновичем и Игорем Шафераном, Володей Львовым и Булатом Окуджавой, Игорем Дуэлем и Николаем Панченко, Генриеттой Миловидовой (внучкой Клары Цеткин) и Витей Гиленко — всех не перечислишь. С Иосифом Ржавским мы сразу же подружились. Он писал тогда ещё слабые стихи, был обаятелен и трогательно застенчив — этот бывший военный лётчик. Словом, такое соцветие, такие разные и талантливые — вот я и робела, ступёвывалась. А потом — привыкла. Левин умел всех примирить, сплотить, был нашим отцом и старшим братом.

Для меня «Магистраль» была как бы первым университетом. Там я познавала азы поэзии, литературы и, может быть, в какой-то степени — жизни, т.к. в таком большом коллективе мне не приходилось раньше быть. И всё же я чувствовала себя «белой вороной»: они такие образованные — если не все, то почти все с высшим образованием! Кто-то стал впоследствии знаменитым, кто-то известным, а кто-то так и остался «в нетях». Но тот литературный университет, который возглавлял Левин, дал мне очень многое! К нам приходили Павел Антокольский, Вера Инбер, Назым Хикмет, Леонид Лиходеев, Михаил Светлов, Ксения Некрасова — все такие разные и такие яркие. Свою первую повесть «Ласточки» читала нам молодая Наташа Дурова... Отказать Левину никто не мог: все, кого он приглашал, приходили на «Магистраль», хотя у нас были свои критики, и весьма строгие.

«Магистраль» тогда состояла в основном из людей, как-то связанных с железной дорогой. Я же и кое-кто ещё были пришлые. Григорий Михайлович должен был представить начальству ЦДКЖ новый список членов «Магистрالی» и спросил, имею ли я хотя бы отдалённое отношение к железной дороге. Я пошутила: «Имею: часто езжу по ней». Но, когда отсмеялись, вспомнила, что моя покойная сестра в 30-е годы работала корреспондентом в газете «Гудок». И

опять взрыв смеха, даже хохота, потому что кто-то, уж не Шафран ли, сострил: «Вы бы ещё вспомнили, что было до Рождества Христова». Я обиделась. Но Левин, всегда умевший мириться и мирить, сказал под весёлое одобрение магистральцев: «Вы у нас будете стрелочницей». Особенно веселился почему-то чаще всего мрачный Володя Львов. Левин угадал! Я и была всю свою жизнь «стрелочницей»: куда ни повернусь, всюду виновата...

Однажды я пригласила на «Магистраль» подругу Юлю, студентку филфака. Она потом сказала: «У нас на филфаке нет такой раскрепощённости, такой дружественной атмосферы. У нас — постоянная подозрительность, и только с немногими можно говорить откровенно». В те годы все всего боялись, и хотя эпоха страха вроде прошла, привычка бояться — осталась. Но в «Магистрале» не боялись ничего. Одним из самых ярых бунтарей был Саша Аронов. Правда, Григорий Михайлович чётко «дирижировал», особенно если у нас в гостях был кто-то посторонний или кто-то из начальства ЦДКЖ, партийный комитет которого относился к магистральцам несколько насторожённо. Но мы «держали марку»: при них читали только гражданственные стихи.

Жизнь в «Магистрале» бурлила, все самоутверждались, были маленькие и большие романы, на что Левин смотрел как бы из-под очков: неодобрительно-одобряюще. Я сходу влюбилась в Булата Окуджаву, напосвящала ему кучу стихов. Не помню, чтобы Булат пел свои песни на занятиях, он только изредка читал стихи. О моей влюблённости, вероятно, догадывался, но делал вид, что не догадывается ни о чём. Я боготворила его, меня боготворил Володя Львов, я нравилась Жене Храмову и Володе Войновичу, с которым мне было всегда очень интересно, мне посвящали стихи Женья Храмов и Игорь Дуэль, Иосиф Ржавский и Саша Аронов, Володя Львов. Как жаль, что мы так небережливо относились к тем клочкам бумажек с посвящёнными друг другу стихами! Но кое-что у меня всё же сохранилось.

Мы жили, словно одна большая семья, а Левин был наш папа. Часто по поводу и без повода собирались: сбрасывались по трёшке, Иосиф Ржавский был щедрым и всегда имел при себе «карманные» деньги. Сбрасывались даже по рублю (и нам хватало!) — и мигом — на один из трёх вокзалов, в ресторан, кутить. Селёdochка с картошечкой, если хватало — ещё что-нибудь мясное и водочка или винцо.

Там нас уже знали: «Поэты пришли!» — и начинались стихи по кругу, а круг оказывался бесконечным. Господи, как же было славно и дружно! Были бедны, но счастливы и веселы.

Справляли и дни рождения, чаще всего — у Нины Бялосинской: у неё были очень приветливые, доброжелательные, любящие поэзию родители. За столом всегда бывало шумно, но никто не напивался: Левин не допустил бы! Хотя и сам от рюмки не отказывался, а меру знал.

Наши выступления тоже проходили шумно и не всегда гладко. Нет-нет, а кто-нибудь из наших закопёрщиков что-нибудь да выкинет! Потом получаем от Левина «втык», но очень уж по-дружески, я бы сказала, по-отцовски. Ему нравилось озорство, но в то же время он заботился о том, чтобы этого не заметили обязательно присутствующие в зале «представители» ЦДКЖ. Часто они и не замечали: не по рассеянности, а по полному отсутствию интеллекта. Такие деятели тогда кишмя кишели в учреждениях, в клубах, на литературных собраниях.

Однажды на большом вечере в переполненном зале ЦДКЖ некий магистралец выдал мои стихи за свои. Это был, конечно, Игорь Шаферан, и сделал он это с моего согласия. Вечер, который вёл Левин, шёл немного вяло, потому что Григорий Михайлович по доброте душевной разрешил читать стихи кроме Окуджавы, Бялосинской, Астафьевой и других хороших поэтов ещё и менее талантливым — чтоб их не обидеть. Игорю это надоело. Чувство юмора требовало «подвигов».

Я сижу в первом ряду, рядом с Володей Войновичем, за мной, во втором ряду — Игорь. Войнович — в форме железнодорожника. (Очень ему шла эта форма — впрочем, в другом костюме я его в то время и не видела. Может, у него и не было?) Я сосредоточенно перебираю листочки со стихами, раздумывая, что читать. Конечно же, волнуясь. Наклоняется ко мне Игорь и прямо в ухо шепчет: «Дина, дайте мне своё стихотворение, только чтоб очень-очень про любовь (а я в ту пору как раз и писала такое «очень-очень»). Ладно? А я его прочту». — «Я и сама могу прочесть», — отмахнулась я от него, совершенно не понимая, зачем ему читать чужие стихи, да ещё женские. Он опять: «Ну что, вам жалко?» — «А зачем?» — тихонько спрашиваю, чуточку повер-

нувшись к нему. — «В зале вон сколько молодых женщин, а этот болван долдонит про стройку, про колхозы! Скучно. Им бы чего сердцещипательного!»

На сцене зашикали, Левин блеснул на меня очками. Володя Войнович спрашивает: «Что он вас терзает?» А Игорь уже протягивает руку к моим страничкам, сгребает их все, быстро находит то, что ему нужно, и с хитрой улыбкой возвращает остальное. «Смотри, попадёт нам от Левина!» - «А он не заметит!» - говорит Игорь. «Это Левин не заметит? Ещё как заметит!»

В это время Левин поворачивается к нам, смотрит неодобрительно и объявляет: «А сейчас выступит Дина Терещенко». Я растерялась, листочки посыпались на сцену, я — бряк на пол, на эти листочки (чтоб удача была), в зале смех, на сцене — недоумение: думали, споткнулась. А я как ни в чём не бывало собираю листки, подхожу к микрофону и читаю. Заканчивает вечер Игорь Шафран — он всегда чем-нибудь да насмешит. «Ну, сейчас будет цирк», — говорю сидящему рядом Войновичу. Левин называет Игоря, тот подходит к микрофону так близко, что губы его касаются мембраны: «Я прочту вам новое стихотворение, я его ещё ни разу не читал, оно только что написано, поэтому буду читать с листа». Сидящие в зале знают его стихи и заранее аплодируют. Игорь с чувством читает:

Я ждала тебя, ты пришёл,
ты обнял мои хрупкие плечи,
ты расплёл мои длинные косы,
целовал мои жаркие губы...

В зале творится непонятно что. Левин смотрит на меня, и глаза его мечут молнии. Ну, думаю, всё — выгонит меня из «Магистральной» и Игоря заодно. «Он что, сдурел? — спрашивает Володя. — Зачем ему это?» Я пожимаю плечами. Володя давится от смеха.

Вечер закончился. Подходит Левин: «Что за неуместные шутки?» Игорь мнётся, я опускаю голову, молчу, как провинившаяся школьница. «Мы перепутали, — говорю наконец я, — Игорь нечаянно...» — «Знаю я его “нечаянно”! Безобразие! Чтоб это было в последний раз! — И показывает на зал: — Вы что, их дураками считаете?»

Лицо Игоря — как перезревший помидор, а в глазах — смешинки. Сидевшие на сцене так и не поняли, в чём дело, а может, волнуясь перед выступлением, и не заметили. В общем, обошлось...

Мне и до сих пор кажется: в ту пору короткой «оттепели» мы жили как-то беззаботно, пожалуй, бесстрашно и — весело.

Я никогда не забуду те годы, когда приходила в «Магистраль», к Левину. Много я там узнала, многому научилась, познакомилась с талантливыми поэтами. Очень горевала, когда пришлось уйти: смертельно заболела сестра, вернувшаяся с Колымы (ЧСИР)* — девять лет дали себя знать. Вслед за сестрой умерла мама, через год неизлечимо заболел муж, и я завертелась в горестях, заботах и хлопотах. Но когда мне становилось уж совсем невыносимо, я мысленно возвращалась на Комсомольскую площадь и входила в прекрасное здание ЦДКЖ, в большую комнату, где за длинным столом сидели мои друзья-магистральцы, а во главе стола «восседал» Григорий Михайлович Левин и говорил что-то очень интересное, очень умное, и читал свои «Ландыши», и я чувствовала себя счастливой...

Февраль 1995 г.

* ЧСИР — Член семьи изменника Родины. Так в годы сталинщины обозначали одну из категорий подвергшихся репрессиям — *Прим. ред.*

Форточка, через которую мы дышали

В «МАГИСТРАЛЬ» я попала где-то в середине 1960-х. Помню поразивший меня своей смелостью доклад Владимира Леоновича о Пролеткульте. Помню грустные стихи Яна Гольцмана, которые кончались строчкой: «А у белых мышей — красные глаза». На занятиях магистральцев постоянно присутствовал вечно начинающий поэт с совершенно седой головой. Он всегда выкрикивал с места надтреснутым голосом какие-то задиристые фразы, открывал свой потрёпанный школьный портфель, вытаскивал оттуда ворох бумажек, читал их, шевеля губами, и засовывал обратно. И надо всем этим царил высокий и стройный, темпераментный Григорий Левин.

Однажды я показала ему стихи, написанные после поездки на север. Конечно же, там было про белые ночи и про морошку. Дочитав до конца, Левин разочарованно сказал: «А я думал, вы вспомните о Пушкине. Вы ведь знаете, что он перед смертью просил морошки». Григорий Михайлович заговорил о Пушкине, потом о Блоке, потом о ком-то ещё. От Комсомольской площади мы пошли по Каланчёвке, добрались до Садового кольца, а Григорий Михайлович говорил и говорил энергично и страстно о поэтах старых и новых, о поэзии и переводах, читал свои и чужие стихи. Он знал миллион строк, имён, историй. Мы расстались около ЦДЛ. «Пишите и несите всё, что напишете. Буду ждать».

Тогда же, в начале 60-х, я стала ходить в литобъединение при многотиражке «Знамя строителя». Собирались по четвергам на Сретенке, в Даевом переулке. Занятия вёл поэт Эдмунд Иодковский. К нам в гости приходили Лев Шиллов, Генрих Сапгир. Был у нас и Дудинцев, чей правдивый роман «Не хлебом единым» наделал тогда много шума. Роман ругали в прессе, им зачитывались,

его рвали из рук. Наши студийцы засыпали Дудинцева вопросами. Кто-то пришлый задал ему вопрос с подкавыкой. Дудинцев помолчал и грустно спросил: «Зачем вам моя кровь?» Потом читал стихи немолодой учитель сельской школы Александр Дождиков: «Тяжело бытовать при Батые, / При Батые законы крутые. / А законники — конники, конники...» Дудинцев разволновался: «О, вот это матёрый волк, это силища».

Эти, казалось бы, незначительные детали помогают не забыть, что в далёкие 60-е параллельно с литературными генералами, пышными юбилеями и дежурными декадами существовала *другая* жизнь. И «Магистраль», и «Знамя строителя» были той форточкой, через которую мы дышали. Сейчас, когда распахнуто всё, в форточках нет нужды. Однако возникли серьёзные проблемы с воздухом. Воздух такой, что иногда хочется задержать дыхание. Но это уже иная тема.

Максим Гликин

СВОЯ МИССИЯ

СОДРУЖЕСТВО ПОЭТОВ – формирование зыбкое и редко выдерживает испытание временем. Между тем в «Магистрали» поэтическая мысль пульсировала почти полвека: с 1946 года до конца дней Григория Левина. Объединившись в то время, когда не могло уже быть никаких акмеистов, футуристов, имажинистов и даже обэриутов – ведь существовал единый и нерушимый Союз советских писателей! – «магистральцы» пытались восстановить связь времён, занимаясь действительно изящной словесностью. А не тем идеальным литературным процессом, именовавшимся литчиновниками советской поэзией и имеющим весьма опосредованное отношение к собственно поэзии, собственно искусству.

Наверное, сей процесс и имел в виду Бродский, который говорил, что начинал писать в стране, где отсутствовала изящная словесность. Действительно, советский поэт – это была должность, профессия в ряду других профессий: инженер, прораб, главбух.

Но ниточки, тянущиеся из 10-х годов в 60-е, не были прерваны хотя бы потому, что было связующее поколение поэтов – поколение Арсения Тарковского, Марии Петровых, Николая Заболоцкого, Ильи Сельвинского. Их отнятые у читателя стихи знали магистральцы. Именно через «Магистраль» проходили творческие пути Булата Окуджавы, Владимира Войновича, Фазиля Искандера, Наума Коржавина. Хорошая половина из ныне признанных мастеров может назвать Григория Левина своим учителем. И тысячи непризнанных – научившихся у Левина очень редкому и очень ценному искусству: любить и ценить слово. Ведь по-настоящему читать настоящие стихи не менее трудно, чем их писать.

Если действительно у каждого на земле есть своя миссия, то у Григория Левина она заключалась в том, чтобы не дать магистральному пути русской поэзии зарости сорняками.

Ему это удалось.

МЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ СМЕШНЫМИ

«**М**АГИСТРАЛЬ», по тогдашнему мнению, была лучше не только Литинститута, но и «Вагранки» (литобъединение, которое вёл Александр Филатов). Она была известна в мировом масштабе. Мы особенно гордились тем, что у нас выступал Назым Хикмет. Впрочем, что назвать выступлением...

«Магистраль» вообще славилась странными происшествиями. Так, мы начинали заседания с некоторым опозданием, но зато не расходились, случалось, до утра. После закрытия ЦДКЖ (построенного на деньги Воробьяниновской тёщи) мы бродили под осенним дождиком, останавливались у всякой лужи и читали разные бессмертные стихотворения, свои и чужие.

У нас было принято где-то задерживаться. Тот же рыжий турок Назым пригласил к обеду Григория Михайловича Левина. В награду Левину достался Хикметовский автограф. «Дорогой Григорий Михайлович! Мы вас ждали, ждали, съели весь обед и, проголодавшись, теперь отправляемся в ЦДЛ. Если хотите — присоединяйтесь к нам. Только поспешите, в ЦДЛ пускают до часу ночи». Версию записки привожу по памяти. Успел поэт туда или нет — история умалчивает.

Я посвятил Григорию Михайловичу стихи «Без выбора», в которых «Магистраль», может быть, узнает себя сама. Я их имею. Вот они.

Ходил, ходил по замкнутой Москве.
Она не далеко тогда кончалась,
Но как-то всё никак не приручалась,
И не знаком я тоже был ни с кем.
Но вот на кратком расстоянии от
Метро до клуба возле трёх вокзалов
Она как будто что-то показала
И отвернулась. Там всегда народ.
По пояс высунувшись изо дня,

Уже я узнавал наполовину:
Пространство разминавшее, как глину,
Кого напоминавшее? Меня?
Одна из служб казалась выше всех.
Одна из игр несла такое имя...
И если это вызывает смех,
То, значит, мы согласны быть смешными.

От учителя к ученику

Из книги «Ласкающийся ёж»

... ДВИЖЕНИЕ бардов как культурно-социальное явление имеет свои причины и корни соответственно в духовной и материальной сфере послевоенного общества нашей страны.

Барды имели своих предшественников в лице Вергинского, Лещенко, некоторых авторов советской песни и русского романа вообще, безымянных авторов военных, студенческих и тюремных песен. На этой почве возник гениальный родоначальник движения — Окуджава. Вспоминаю четверостишие, написанное одним из участников литобъединения «Магистраль», где занимался в молодости Окуджава (и мне посчастливилось):

Мы делили дружно славу,
Магистральцы, — стар и млад.
Но пришёл к нам Окуджава,
«Всё моё!» — сказал Булат¹.

...В школе меня, видимо, больше привлекали технические науки. Зато позже, на физфаке, читал много поэзии, научился отличать плохое от хорошего.

В этом большую роль сыграл руководитель литобъединения «Магистраль» Григорий Михайлович Левин. В «Магистрале» я занимался года четыре и, если бы не Левин, ничего бы я не понимал в поэзии и по сей день. Дело в том, что эти знания не формализуются, в отличие от физики и математики. Здесь необходима прямая передача от учителя к ученику. «Вот это — хорошо, а вот это — плохо. Это — поэзия, а это — графомания». Левин, прочтя мои ранние строчки «Убегу — не остановишь, потеряюсь — не

¹ Автор четверостишия — Инесса Миронер.

найдёшь», сказал: «Вам нельзя это бросать, вы должны писать». Что-то он во мне рассмотрел.

Это был прекрасный педагог. Когда он разбирал явно слабые стихи новичка, он никогда не ругал его, не издевался. Всегда находил хотя бы одну строчку, одно подходящее словосочетание и говорил: «Вот это ваше, вы должны искать свой голос». Всех старался поддержать.

Из «Магистрали» вышло много профессиональных поэтов. Но главное, что Левин сумел привить своим ученикам, — это любовь к поэзии, глубокое понимание её и, в конечном итоге, интеллигентность вообще — то, чего резко не хватало и неоткуда было взять (в частности, мне).

Он оставил симфонию

Познания бессмертный уголёк...

Г. Левин. «Евангельские мотивы»

ГЛАВНОЕ ПРАВДА, Леночка?! — главное в жизни — это стихи... Чтобы писались хорошие стихи. Это — счастье! Правда? А всё остальное — ерунда! — и Григорий Михайлович взмахивает правой рукой и как бы рубит ею воздух. Левая рука его крепко держит меня за рукав. Глаза блестят, и он читает, читает, читает...

Всё это происходит в метро, часов в 12 ночи, после очередного занятия «Магистрала».

Одно из первых стихотворений, с которыми я пришла в объединение и которое не вошло в мои книжицы, это — «Белый дым ползёт по улице». Обсуждая его, Григорий Михайлович советовал переставить эпитеты в двух последних строчках. Я сейчас не знаю уже, на чём остановилась. Но когда в случайной и милой своим демократизмом газете «Московские окна» был напечатан призыв прислать что-нибудь новогоднее, я вспомнила об этом стихотворении и, вовсе не ожидая никаких чудес, в числе прочих — послала и это, посвятив его Григорию Михайловичу. Он только недавно ушёл, осенью 1994 года. Достая из ящика очередные «Окна» — опубликовано. И с посвящением.

Григорию Михайловичу Левину

Белый дым ползёт по улице —
То деревья в инее стоят.
Ими девочка любит
Сквозь причудливый оконный сад.
Свято верит в доброго Мороза,
Что украсил окна серебром.
Нежная, как первая мимоза,
Хрупкая — в неведеньи своём.

1962–94

В самом начале 60-х годов мы с Юлией Резиной одновременно явились в «Магистраль», вместе дрожали от страха, когда Григорий Михайлович в очередной раз громко провозглашал: «Все, кто не имеет отношения к железной дороге, должны будут быть отчислены!» — Юля пришла из «Медика», а меня послала учительница литературы из маминой школы. Кажется, её звали Ольгой, и она училась с Г.М. в Литинституте. Я её никогда не видела, к сожалению.

(Юля впоследствии на свои средства издала мою книгу «Стихотворения», за что Григорий Михайлович поблагодарил её в своей дарственной надписи к «Евангельским мотивам».)

Мама на мои жалобы о том, что нас могут не принять в «Магистраль», говорила: «Скажи ему (то бишь Григорию Михайловичу), что у тебя дедушка работал всю войну на железной дороге». Что было правдой.

Занимались три раза в неделю.

Первый раз я пришла на консультацию, долго поднималась по лестнице, маленькая такая каморка. Стучу.

— Можно войти?

Левин:

— Вы на огонёк?

Недоумение на моей физиономии. Не поняла. Не знала я такого выражения в свои двадцать с лишним лет.

Сидела и слушала, как Григорий Михайлович учит пишущую братию.

— Вы меня не уговаривайте, не объясняйте, что вы хотели сказать. Главное, что вы написали! Если вы прочтёте мне «Белеет парус одинокий», я сразу скажу, что вы — Михаил Юрьевич!

Меня в те времена Левин тоже часто и жестоко, как мне тогда казалось, критиковал. Я уходила едва ли не в слезах. Из тех времён остались у меня в памяти такие строчки:

Холодные лампы дневного света
Повисли над площадью Комсомольской.
Я иду и прошу совета
У этой ночи тревожной и скользкой...

Но бывали и на нашей улице праздники!

И Григорий Михайлович ух как их любил!

Скидывались, у кого сколько: рубль, сорок копеек, — всё шло в дело. Заходили, к ужасу obsługi, за 15 минут до закрытия вокзального ресторана, брали одну бутылку сухого и на сколько хватало — бутербродов и... читали, читали стихи. Выгнать нас было затруднительно, а может быть, и жалко. Кто теперь скажет?

— Где ты пропадаешь столько времени? Хоть бы показала нам своего Левина, — тревожилась мама. И в День железнодорожника мама с бабушкой отправились в парк Горького, где мы выступали. Г.М. почему-то всегда просил меня читать «Колодец». Я теперь посвятила ему это стихотворение.

Я — бездонный колодец,
Я — кладезь ваших взглядов, в меня
погружённых,
Ваших слёз, что падают долго...
Я от ваших невзгод продрогла.
По моим полустгнившим стенам
Вы скользите взглядом растерянным.
Моему наболевшему сруб
Ни фанфары, ни медные трубы
Не нужны.
И случилось — камень
Кто-то бросил в меня...
Зеркальным
Отлетевшим осколком вонзился
Он в моё беззащитное дно —
И журавлик с ведром, —
долго длился звон —
Пел и плакал со мной заодно.
И отныне, спуская взор
В глубину моих вод тяжёлых,
Берегитесь камня,
он — вор,
Он — посланец лучей отражённых,
Не достигших моей глубины.
Нет, быть может, моей вины?
Я останусь колодцем бездонным
И пристанищем для бездонных,
Приходивших ко мне помолчать.
Мне бы только
не обмельчать.

Мама с бабушкой успокоились:
— Он похож на нашего дядю Шуру!

В 1964 году умерла моя мама, Григорий Михайлович в дарственной надписи к своей книге «День в отпуску» назвал меня «младшей сестрёнкой своей». Очень тогда меня согрел.

Пишу эти слова, а на меня смотрит медведь, подаренный «Магистралью» моему новорожденному сыну. Привезла мне его Софья Александровна Петренко, к сожалению, ушедшая из жизни. Такой же в точности миша был подарен примерно в это же время при рождении сына у Владимира Леванского.

Такая чуткость магистральцев по отношению друг к другу, конечно, исходила от руководителя. «Магистраль» — это была творческая школа жизни.

У Г.М. есть такие строки:

Хорошо, когда человек,
Уходя, оставляет песню.

Григорий Михайлович оставил не песню, он оставил симфонию, с непредсказуемым и неповторимым многоголосьем. Эти разные голоса звучат 25 октября, в день рождения Г.М. Левина, когда мы встречаемся с его семейством, друг с другом и читаем, читаем стихи...

Дорогой Григорий Михайлович! Мы, ваши ученики, без вас уже 13 лет. И я, ваша «младшая сестрёнка», с грустью признаю, сколь своевременны сегодня строки из «Евангельских мотивов»:

Да, людям нужно чудо, озаренье,
А просто боль за них им не понять.
Пусть всё в крови моё стихотворенье,
Терновый им венец не распознать.

И если бы ушёл я — так вернее —
Чтобы идущий вслед скорей пришёл, —
(«Идущий позади меня сильнее»), —
Боюсь, и он бы правды не нашёл.

Будет сделано!

ВСЕ МЫ понимали, как непросто было Левину сохранить «Магистраль». И потому — слушались его беспрекословно.

Бывало, звонит он к тебе домой и коротко, по-командирски говорит:

— В субботу — выступаете в Парке культуры. На пятой эстраде. Сбор группы — в шесть. Руководитель — Гиленко.

И всё. Никаких вопросов. Надо — так надо.

Идёшь в субботу в Парк культуры. Группа собирается у входа, потом долго ищет эту пятую эстраду. Гиленко, который всё всегда знает, найдя какую-то сцену с несколькими скамейками перед ней, утверждает, что это пятая эстрада. Решили выступить. На скамейках сидят несколько стариков и дремлют. Дело происходит весной. Прохладно, тишина. Подождали немного, может, ещё кто подойдёт. Стали читать. Пока читали, какие-то прохожие остановились, а потом и уселись на задние скамейки.

Вот им и стали читать, поскольку старики так и не проснулись.

Читали, как всегда, с удовольствием, потому что каждый любил свои стихи.

Продрогли — и публика, и чтецы. А когда начало смеркаться — разошлись. С чувством исполненного долга — сделали для «Магистрали» всё, что смогли.

Или, уже на занятиях (помнится, дело было в ВИНТИ), Григорий Михайлович объявляет:

— Нужна группа рабочих поэтов для телевизионной встречи с Межелайтисом. Пойдёте — вы, вы и вы!

Я попадаю в эту группу «рабочих поэтов», хотя учусь в художественном институте и, естественно, — никакого отношения...

Приходим в Останкино. По списку нас проводят через проходную, вводят в какую-то маленькую комнатку, и мы долго ждём.

Потом прибегают кто-то очень умный и быстро всё решает, кто как будет одет и кто что будет говорить.

Мне разрешили не восторгаться поэзией Межелайтиса, а задавать каверзные вопросы, потому что я заявила, что не люблю его.

— Это хорошо, — сказал умный, — будет амплитуда.

На меня натягивают чью-то тёмную кофту, потому что оказалось — в белом нельзя, по каким-то операторским соображениям.

Входим в съёмочную, рассаживаемся на стульях посреди комнаты, а перед нами — телевизор. Оказывается, разговор со знаменитым литовским поэтом будет по телемосту. Опять долго ждём. Что-то со связью. Позади нас и наверху тревожно переговариваются. Наконец изображение появляется. Межелайтис только готовится к передаче, он что-то кому-то говорит, перебирает бумаги, в комнату к нему врывается большая собака — её дружно выпихивают две женщины, которые вдруг появляются в кадре.

И вот поэт готов. По какому-то невидимому нам знаку он начинает читать. Звук нет. А Межелайтис читает...

— Звук! — кричат в нашей студии, но ничего не меняется.

Вот Межелайтис закончил, и кто-то там ему говорит что-то. Межелайтис явно рассержен. А тут ещё опять собака впирается в наше поле зрения. Её опять дружно выпирают. Наконец связь налажена — и поэт начинает сначала. Опять читает что-то очень значительное и постепенно успокаивается. Мы видим его, а он видит нас. Спрашивает, что мы думаем о его поэзии, и просит нас почитать свои стихи. Все с удовольствием и волнением читают по одному стихотворению, а мастер отечески наклоняет голову.

Я тоже читаю что-то молодое и, как мне кажется, смелое, а потом спрашиваю:

— Можно ли в стихах использовать образы из чужой поэзии? Где эта мера?

Межелайтис слегка смешался, а потом, наверное, глядя на меня, сказал что-то вроде:

— Кто как может, тот так и пишет.

Смотрел он куда-то вбок — там, видно, стоял телевизор с нами, «рабочими поэтами» из «Магистрали».

И опять мы ушли домой с чувством исполненного долга.

Как-то раз, ночью, часа в два — раздаётся звонок. Звонит Левин.

— К завтрашнему утру нужна стенгазета. Срочно нарисуйте заголовков, номер выпуска, какую-нибудь заметку и стихи. Нужно обязательно! Привезёте газету в Дом литераторов, в такой-то кабинет, оставите там, а я заеду...

Спросонья плохо соображаю, хочу сказать, что у меня и ватмана-то дома нет, но говорить уже некому. Ту-ту-ту...

Ну что же, раз нужно обязательно — будет сделано. Видно, опять в ВИНТИ на него покатили.

Встаю, одеваюсь и иду на соседнюю улицу, там детская изостудия, в которой я преподаю. Приношу домой бумагу и сажусь на всю оставшуюся ночь...

Утром отвожу газету по назначенному адресу, возвращаюсь домой и ложусь спать.

На следующем занятии «Магистрали», кажется, через пару дней, вижу отсутствие моей газеты и сердитого Левина, который на меня не смотрит.

— В чём дело? — спрашиваю. Но Левин очень занят, люди, бумаги — не отвечает. Потихоньку выясняется такая история: приехал наш Григорий Михайлович в Дом литераторов, как всегда, спешил, схватил газету, выбежал на улицу ловить такси, такси не было. Левин остановил «Скорую помощь»...

Так и вижу — Левин в расстёгнутом пальто, шарф наперекосяк, под мышкой портфель, в руках рулон ватмана — стоит поперёк улицы Воровского и останавливает «Скорую помощь»...

В общем, довезла его «Скорая помощь» куда надо — он вылетел из машины и убежал. А газету забыл. Уехала газета...

И до того он был расстроенный, что не мог со мной говорить, когда увидел меня.

До того был расстроенный, что захотелось поцеловать его.

Каким он был всегда

ГРИГОРИЙ Михайлович Левин на протяжении многих лет руководил помимо «Магистрала» литературным объединением «Медик». Еженедельные встречи с ним запомнились навсегда — его лекции по истории русской поэзии воспитывали в слушателях настоящее понимание её и любовь к высоким её образцам. Он был удивительно чуток к каждому прочитанному студийцами произведению, поскольку обладал абсолютным поэтическим слухом. Его талант учителя проявлялся в тонком разборе каждого стихотворения, в его умении находить удачную строчку и радоваться ей, в умении угадывать возможности своих учеников, работать с ними, не щадя сил и времени.

Он был безгранично добр, мудр, бескорыстен и тактичен. Всё это создавало порой впечатление незащищённости. Она, в сущности, была неотъемлемой чертой его характера. Оттого, наверное, люди, общаясь с ним, становились правдивей и чище.

Его собственные стихи — высоко талантливые — отражают широту души их автора и упорную работу над словом. Стихи последней его книги полны мучительных раздумий о сущности бытия, о Боге и открывают нам такого Григория Михайловича, каким он был всегда, а не только на склоне жизни.

Елена Похвиснева

Школа Левина

*Из выступления на вечере в Доме-музее М. Цветаевой
в честь 90-летия со дня рождения Г.М. Левина*

Я УЗНАЛА Левина сначала не как учителя, а как поэта. Ещё до того, как начала ходить в «Магистраль», я как-то была на поэтическом вечере в Доме Брюсова, и там читал Григорий Михайлович. На меня очень большое впечатление произвели его стихи, особенно посвящённое Цветаевой. Потом у меня в голове долго крутилась строчка: «Только я не пойду на Трёхпрудный...». И ещё одно небольшое стихотворение, в котором я запомнила последние строки: «И вдруг раванул стремительно Кутузов / Спирающий дыханье воротник». «Ландыши» он, к сожалению, не читал в тот вечер, но я этого поэта запомнила.

А потом я узнала, что именно он руководит «Магистралью». Меня туда Бэллочка Головнер, светлая ей память, привела, за что я ей, пока жива, буду благодарна. Тогда я, конечно, познакомилась со многими стихотворениями Левина, многое знала наизусть. Все писали о любви, но только Григорий Михайлович сумел написать так: «Думаешь, счастлив любимый? / Любящий трижды счастливей». Кто любил, тот это может понять... «Ночь перед боем – всем она дана...» – такого тоже никто не написал и не сказал. Или «Евангельские мотивы». Много столетий к Евангелию обращаются и в поэзии, и в прозе. Но никто ещё не написал о Евангелии с такой беспощадной откровенностью, как Григорий Михайлович. Он не побоялся написать: «Евангелие – книга о предательстве», – и это правда. Он оттуда взял слова: «Вот приблизился предающий меня...» Или ещё: «Идущий позади меня сильнее» – / Боюсь, и он бы правды не нашёл». И то же самое с Гефсиманским садом. Уж кто только не обращался к этой теме! А Григорий Михайлович написал

такие слова: «А мы всё спим и спим в Гефсиманском саду...» Трижды повторённые — в начале, в середине и в конце, — они же просто бьют. Когда эти строки слышишь, то понимаешь, что это о тебе, что это ты спишь, когда вокруг творится зло...

Ещё я немного скажу о «Магистрале». Вообще, этот дар Григория Михайловича, конечно, совершенно неповторим. Ни до него, ни после таких людей не будет. Сколько существовало и существует литературных объединений! Да не обидятся на меня их руководители, если я скажу, что подавляющее большинство людей, какими приходили в эти объединения, такими и уходили. С ними там ничего не случалось. А Григорий Михайлович сумел воспитать огромное количество поэтов и прозаиков, даже с мировым именем. У него было умение находить в хламе, который ему приносил начинающий, какие-то зёрнышки, жемчужинки, их вытаскивать и как-то постепенно человека выучивать. Надо сказать, что у него был совершенно безупречный литературный вкус, и он пытался это людям прививать. Даже термин такой появился: «школа Левина».

Когда я пришла в «Магистраль», были у меня кое-какие стихо-творения, некоторые я считала вполне хорошими... Например, такие строчки (описывалась ранняя весна): «И холодным пожаром трепещет / По сугробам багровый закат». Я их считала чуть ли не совершенными!.. И очень удивилась, когда Левин их отверг как «ненужную красоту». Там же были строчки: «Закат, что над речкою стынет / Миллионами розовых звёзд». Конечно, он это всё отринул. Потом, когда я уже ходила в объединение, мною было написано стихотворение, где, как мне казалось, тоже была вполне пристойная строфа: «И вижу я, как синий и огромный / Несётся мир на утреннем ветру, / Как ты, пройдя сквозь шум аэродрома, / Идёшь вперёд к весеннему Днепру». Как же он меня разругал! «Что это такое — “синий и огромный мир”?! Ну, что это, объясните!» Я как-то растерялась. А спустя некоторое время он так же ругал Татьяну Врубель за строчку: «Ты читал мне стихи голубые, большие...» — «Что это такое?! Ведь определение должно быть чётким!» И вот так постепенно к концу первого года пребывания в «Магистрале» как-то это начало уже прививаться.

Надо сказать, что он довольно часто цитировал строчки Пастернака из стихотворения, посвящённого Ахматовой, где говорилось, как в её стихах крепили «прозы пристальной крупницы». И он говорил, что, чтобы по-настоящему своё чувство выразить, надо именно чёткими крупницами прозы их выражать. Любил он также цитировать известные строчки Пастернака как наиболее совершенные: «Тенистая полночь лежит на пути, / На шлях навалилась звездами, / И через дорогу за тын перейти / Нельзя, не топча мироздания». Он их часто ставил в пример. Постепенно мы начинали понимать, что хорошо, а что плохо.

Григорий Михайлович жил всем этим. Он гораздо больше, чем своё творчество, ценил то, что сумел сделать из людей.

ОН БЫЛ ДУХОВНЫЙ ЧЕЛОВЕК

*Из выступления на вечере в Доме-музее М. Цветаевой
в честь 90-летия со дня рождения Г.М. Левина*

ЧЕМ БОЛЬШЕ проходит времени, тем образ Григория Михайловича становится монументальнее, крупнее. За то время, что прошло с тех пор, как я познакомилась с Григорием Михайловичем Левиным, много встречалось на пути людей. Даже такие, как Сахаров, Рой Медведев – крупные фигуры, – чем дальше, тем больше становятся как бы вписанными в какой-то временной отрезок, а Григорий Михайлович остаётся над временем, остаётся с нами, с людьми...

Здесь говорили о «Евангельских мотивах», о том, что он не был человеком верующим и очень смело пишет о Евангелии. На самом деле Кодекс строителей коммунизма – это фактически те же заповеди. Другое дело, что люди многое искажают, очень грешен человек. Никто не заставлял предателей писать стукаческие письма, они сами это делали. Никто им не велел, никто над ними не стоял, они это делали из подлости, из своей человеческой грешной сути. А когда человек не грешен, когда не несёт в себе пороки человеческие, он может реализовывать всё то, что записано хоть в христианских заповедях, хоть в Кодексе строителей коммунизма. Григорий Михайлович был для меня именно таким...

Я иногда думаю о Христе и Григории Михайловиче, и Григорий Михайлович мне ближе. Я не могу читать Евангелие, мне претит императивный тон, повелительное наклонение. У Григория Михайловича не было повелительного наклонения. У него было обращение к каждому человеку, и видение в каждом человеке его особенности, специфики, и необыкновенная любовь к такому человеку, какой есть. Он не старался исправлять, наставлять, заставлять, он просто любил человека, и то, что он в тебе любил, ты

начинал сам в себе как-то ценить и развивать. Среди моих самых близких людей Григорий Михайлович для меня — вместе с родителями: мои родители, моя замечательная свекровь и Григорий Михайлович — четыре человека из тех, которые ушли из жизни и наравне с которыми никто пока в жизни для меня не стал. Родители — понятно, но вот эти два человека, которые по своему духовному содержанию, очень высокому духовному полёту, огромному смирению и в то же самое время огромному достоинству для меня остаются такими непревзойдёнными вершинами, которые как бы завещают что-то и заставляют вести себя достойно, когда ты хотел, может быть, дать слабину...

Говорят, что души уходят куда-то, живут там... Я думаю, что это по-другому происходит. Они остаются в нас, в духовном содержании нашей жизни, в культурном наследии. И вклад Григория Михайловича тут, наверное, огромный. Если говорить о профессиональном, другую тему слегка затронуть — да, были консультации, то есть великая школа этих консультаций. Сейчас консультаций у нас не бывает. Мы приходим с готовыми книгами, презентуем, плохо читаем даже друг друга, разве что слегка перелистав книгу, не вникая особо в неё. А консультации у Григория Михайловича — они были всё. На них зародыши книги прорастали, и потом создавались те книги, которыми мы гордились, которые хотелось иметь.

В то время наряду с официозом шёл параллельный литературный процесс, и Григорий Михайлович был одним из создателей, главных конструкторов этого процесса. Мы ведь все друг друга знали. Я в Ереване жила, но знала всё, что есть в Москве, знала, что есть в Ленинграде, а там знали, что происходит у нас. Этот обмен создавался именно благодаря духовному бдению таких людей, как Григорий Михайлович. Сегодня ни параллельного, ни какого-то другого процесса я не знаю, чтобы можно было что-то оттуда взять и сделать частицей своего духовного багажа. Григорий Михайлович, несмотря на огромное количество приходивших к нему людей, с каждым созидал этот литературный процесс, чтобы человек был в нём звеном, а не оказался изолированным от общего движения.

У меня нет слов, чтобы выразить благодарность и любовь к Григорию Михайловичу за его заботу... Он был духовный человек. Ду-

ховные люди обычно холодные люди. Они пекутся о духовном, а душевность у них, в основном, бывает на нулевом уровне. Я это и по себе знаю: мне всё человечество очень важно, а человек... пускай сам думает о себе. Меня волнуют большие процессы. Григория Михайловича тоже волновали огромные мировые процессы, но ему и каждый человек был важен. Я часто вспоминаю: когда я приходила к нему на Останкинскую и поздно возвращалась с консультаций, он всегда выходил меня провожать. Обычно очень долго автобуса не было, и он говорил: «Вы наша южная птичка, вы замёрзнете...» Я вообще не мерзлячка, мне не холодно было, но ему казалось, что я мёрзну, и мне было тепло от его человеческой заботливости. Он редкий был человек, сочетавший в себе огромную духовность, душевность, доброту и щедрость души. К сожалению, больше, наверное, мы не встретим такого человека. Ему ещё раз спасибо, спасибо его семье, спасибо Алёше Смирнову, что он продолжил дело, которое Григорий Михайлович заложил. Постараемся держаться дальше.

Нина Саницкая

А БЫЛО ТАК...

Из дневниковых записей

18 *НОЯБРЯ 1971 года. Четверг*

Только что пришла с занятия в ВИНТИ. Не с занятия, а с вечера. Были Окуджава и Тарковский. Григорию Михайловичу подарили медаль из платины. На одной стороне надпись: «Магистрالی – 25 лет». На другой: «От участников дорогому Григорию Михайловичу!»

Тарковский читал стихи. Окуджава – и стихи читал, и пел. Как-то хорошо и магистральцы читали. Лена [Надеина] – своего Леца. Принимали прекрасно. Алексей Смирнов превосходные стихи прочитал о Гоголе. Я, слава Богу, на этот раз не ошиблась.

Ещё Григорию Михайловичу мы преподнесли адрес в красивейшей папке (кожаной, тиснёной). Окуджаве и Тарковскому тоже были вручены памятные подарки – книги.

В конце вечера Григорий Михайлович некоторым женщинам подарил хризантемы. Лене и Гале [Осиной] – по одной, а мне – две. По дороге Галя отдала мне свою хризантему. Говорит: «Меня спросят: откуда цветок? А у тебя – два. А по два не дарят». Вот я и пришла домой с тремя хризантемами.

18 декабря 1971 года. Суббота

В четверг – занятие. Заключительное слово Григория Михайловича по стихам Лепнера. Как всегда, прав. Стих культурный, но нет лица автора. После занятия Дмитрий мне и Соне [Петренко] сказал: «Всё правильно. Я понимаю выступавших. Но кто не выступал – как знать, что они думают». Я сказала Диме, что согласна с Григорием Михайловичем. Автора не видать. Нора [Ясельман] возразила: «Всё-таки он проглядывает». А я уже образно добавила: «Изредка, как личинка из кокона. Покажет один глазок и опять спрячется».

7 февраля 1972 года. Среда

В первую очередь. В четверг обсуждали стихи Алексея Смирнова. Все единодушно признали его одним из талантливых поэтов нашего литобъединения. Звукопись стиха, музыкальность, завораживающее чтение. Все ему прочат завидное будущее. Я тоже думаю, что он будет поэтом настоящим, потому что многого уже достиг. Ведь молод ещё.

Но, как всегда, Григорий Михайлович указал на то, что завораживающее чтение не всегда совпадает с написанным на бумаге. Это нередко случается и у Смирнова. Также он указал на то, что чрезмерное увлечение прошлым, историей не оправдывает творческих возможностей автора, с чем согласились выступавшие товарищи, вернее, говорили то же самое. А в общем, поэту не подскажешь, как писать, пока он сам не дойдёт.

20 февраля 1972 года. Воскресенье

В четверг была на занятии. Почтили память недавно умершего поэта Матвея Грубияна. Присутствовала вдова покойного в трауре. Пришли брат поэта и артисты. Лев Озеров тепло говорил о Грубияне, вспоминал свои встречи с ним, читал стихи.

Григорий Михайлович тоже выступал, прочитал стихи. Артисты потом взяли слово. Особенно хорошо говорил мужчина, доносил до сердца строки покойного поэта. Великолепное стихотворение «Моя типография» — у берега моря, где в конце концов море — огромная книга. Запомнилось стихотворение об уроненном листке со стихами в морские волны. Поэт просит возвратить ему строки. А море называет его мальчиком и говорит: «Я же музыку пишу на твои стихи».

А потом слово предоставили Левику. На этот раз он познакомил нас со средневековым поэтом Вальтером Фон Фогельвейде. Рыцарь, аристократ, ходивший в крестовый поход в Константинополь, воспевавший рыцарскую любовь в отличие от земной любви. Он вроде акына пел свои стихи. Европа в те времена была неграмотна. И дочь Ярослава Мудрого, отданная в королевство Франции, была при дворе единственным образованным человеком. Это происходило потому, что Россия в те времена приняла христианство и имела тесную связь с Визан-

тией. Стихи Фогельвейде переводить весьма трудно. На первый взгляд они покажутся без рифм, а на самом деле рифмы есть где-то далеко — на двенадцатой строке. В общем, это было чрезвычайно интересно: услышать и открыть поэта, о котором никогда не слышала.

9 марта 1975 года. Воскресенье

В четверг у нас на занятии был Егор Исаев. Это удивительный был вечер. Перед тем как читать главы из поэмы, он очень много говорил о творчестве, о поэзии. Рассказ его был настолько образным, что можно слушать без конца, не замечая времени. Впервые я жалела, что время бежало и надо скоро уходить, иначе вахтёр появится у двери. Встреча происходила в парткабинете. Егор Исаев говорил об ответственности поэта, потому что некоторые товарищи из поэтического цеха садятся за стол и гонят, гонят стихи, как по конвейеру. По три книги в год: в одном издательстве, в другом, в третьем. Что его заставляет? Что, он ходит в заплатах, голоден? Искренне поделился своими болями о том, что трудно десятилетиями не общаться с читателем. Но ничего не поделаешь. Думаешь: вот-вот напишется поэма. А оно не тут-то было. Ещё неизвестно, ты материал берёшь за рога или материал — тебя. Надо показать время в Слове. Он сказал: «Я за творчество. У поэта настоящего должны быть сомнения, уверенность, опять сомнения, неудовлетворённость. Художество — это объём». А потом — главы. Как он читает вдохновенно! Читал он о гаке (есть такое выражение в народе — пять вёрст с гаком). Сначала о продольном гаке (осеннем), а потом о метельном, круговом.

В обсуждении выступали: Забелышинский, Гиленко, Белявская. После Забелышинского Григорий Михайлович спросил: «Кто будет говорить? Галина Осинина!..» Галя отказалась. Тогда Виктор Гиленко сказал: «Ну, кто смелый передо мной выступить? Счастливое будет выступление — между двумя Викторами». После Осининой Григорий Михайлович назвал мою фамилию. Я не смогла отказаться. Если Виктор Забелышинский говорил о поэме, говорил, что это мощно и предметно, то я высказала свою мысль о том, что автор поэмы образ гака развернул так широко, что и не объять, начиная с ямщиков и кончая нынешней техни-

кой. Но главное мне хотелось отметить: никто так исповедально не говорил о своём творчестве, о своих болях. Всё время в упряжке. И не высвободиться. Галя потом сказала, что я рассуждала правильно, но сумбурно. А Григорий Михайлович даже похвалил: «Молодец, Нина!»...

С вашего благословенья

*Из выступления на вечере в Доме-музее М. Цветаевой
в честь 90-летия со дня рождения Г. М. Левина*

«**М**АГИСТРАЛЬ» для меня — это если не вся жизнь, то полжизни. Потому что стихи я до сих пор пишу. И так же, как многие мои друзья, пришла на «Магистраль», не умея... Ну, может быть, там и были какие-то искорки, но я их сама не видела, эти искорки. А Григорий Михайлович наставил меня эти искорки увидеть, и таким образом я стала писать более или менее хорошие стихи. Ну, а сейчас, уже с возрастом, я частенько вспоминаю, что крыш у нас было много (как теперь говорят, «крышуют» — а нас кто крышевал?..). Нас прогнали с Трёх вокзалов, потом мы приютились в «Медике», потом мы пошли в «Калибр» — да, ещё перед «Калибром» мы были в ВИНИТИ прекрасном. Все крыши давали нам, им всем за это спасибо — а «Магистраль» жила и творила духовное, человеческое.

Я хочу сказать, что поэзия относится к той тонкой материи, которую сейчас, по-моему, покинули, кинулись куда-то в другую сторону. А Григорий Михайлович тогда ещё это как будто предвидел. Я читаю «Евангельские мотивы» — и как будто он за меня такое стихотворение написал:

Издrevле что сказано — славно вовек,
И свьше нисходит наитье.
«Не хлебом одним будет жить человек», -
А вы подкормить нас хотите.

Готовы нам дать вы и стол и хлеба,
Чтоб только мы думать не смели,
Чтоб только с тупым безразличьем раба
Работали, спали и ели...

Не буду переводить на наше теперешнее время и не буду рассуждать — все мы знаем, что происходит: духовность очень многих покинула. А поэзия, она является — в чередѣ других: музыки, песен — той духовностью, и ей сейчас трудно, трудно и ещё раз трудно. И вот я в заключение скажу Григорию Михайловичу, если всё-таки, надеюсь, там души ушедших живы:

Учитель наш, как девочка молчу.
Найду ль для Вас достойное сравненье?
Но если в храме муз зажгла свечу,
То это с Вашего благословенья.

ГЛОТОК СВОБОДЫ

*Из выступления на вечере в Доме-музее М. Цветаевой
в честь 90-летия со дня рождения Г.М. Левина*

У МЕНЯ над кроватью висят портреты самых близких людей, которые прошли через мою, уже долгую, жизнь. Среди них – Григорий Михайлович Левин. Потому что только благодаря ему я стал тем, кем я стал. Я мог бы стать совсем другим, но он во мне отметил что-то, что стало потом главным в моей жизни. За это я ему очень благодарен. Период ученичества был недолг, когда я смотрел ему в рот, ловил каждое слово, ходил на все консультации, но, главное, он разбудил – и всё пошло. Главным, первым и последним учителем у меня был Григорий Михайлович Левин.

Пользуясь случаем, я ещё один раз хочу попросить прощения у Григория Михайловича и у его памяти за то, что из-за моих, порой неосторожных, высказываний у него были неприятности и в конечном счёте была закрыта «Магистраль» в ЦДКЖ. Ну, конечно, это был просто повод. Там был донос некоего Шлыковича – Григорий Михайлович мне показывал. Я попал в хорошую компанию: это был донос на Григория Михайловича, на Булата Окуджаву, на Володю Леоновича и на меня. Так что с этой компанией я теперь уже жизнь доживаю.

У Григория Михайловича даже инфаркт был после этого. Мы тогда его окружили стеной любви. Мы понимали... Это многому меня научило: я уже не был так оголтел, уже был более осторожен... Хотя та самая «Магистраль» – старая, на площади Трёх вокзалов, была для нас как глоток свободы, и я по молодости тогда, по глупости, может быть, думал, что здесь всё можно. Оказалось, не всё, потому что везде были уши, везде были языки, мы жили в такое время.

Теперь о Григории Михайловиче — за что я ещё его очень уважал уже в последние годы жизни и уважаю теперь. Он был настоящим. Он был христианином некрещёным. Он был коммунистом, духовным коммунистом — не членом партии. Он был настоящим. Потому что те, которые отрекались от идеалов, никогда не веровали. Это касается и коммунизма, и христианства, и какой угодно другой веры. Многие говорили: а, подумаешь, это утопия! Ну, а что не утопия, скажите, пожалуйста? Не утопия — цены на доллар, на нефть, на золото? Рублёвские дачи — не утопия? А поэзия — это утопия. Христианство — это утопия. Так же и коммунизм, духовный коммунизм, как я его называю, — был тогда утопией. Но он не отрёкся от этого. Я ему за это очень благодарен. Он был один из немногих. Потому что остальные сразу кинулись... как будто переставили кормушку из одного угла в другой — и все кинулись туда, где кормят. Я замечал уже в начале 90-х годов, что те самые люди, которые заняли яро антикоммунистические позиции, — это, как правило, бывшие секретари парткома и члены партбюро. Вот такие были у нас коммунисты. И был Григорий Михайлович Левин, который говорил — пусть просто, пусть незамысловато, но от всего сердца, что «без коммунизма нам не жить...»

Я прочитаю на эту тему стихотворение. Оно относится к Левину, относится ко мне. Небольшой эпиграф. В 50-е годы, когда пришёл к власти Никита Хрущёв, когда реабилитировали Иосифа Броз Тито, ходила в народе такая частушка: «Дорогой товарищ Тито! Ты теперь наш друг и брат. Нам сказал Хрущёв Никита: ты ни в чём не виноват».

Нынче Ленина ругают:
Мол, антихристом зачат.
Нынче Лениным пугают
Абрамовичи чукчат.
Но сказал Краско Валерий,
Всем народам друг и брат:
— Дорогой товарищ Ленин!
Ты ни в чём не виноват.

Виноваты буераки
По-над пропастью во лжи,
Виноваты писи-каки
Вне отдушин для души,

Виноваты кошки, мышки,
Бошки, вышки, Сталин,
Виноваты мы, людишки,
Что людьми не стали.

В полутрёзе провожаю
Грозы в огненном плаще
И сквозь слёзы продолжаю:
– Дорогой товарищ Че!..

Я хотел закончить на более весёлой ноте. «Магистраль» дала мне не только Левина. Она дала мне близких друзей, с которыми потом мы многие годы были едины в творческих наших советах и помогали друг другу и делом, и словом, и редактировали друг друга. Была такая группа — мы назывались телеутами: Володя Леонович, Владимир Леванский, покойный Ян Гольцман и ваш покорный слуга. И вот однажды я написал такое стихотворение, в котором есть Левин:

Я проснулся на рассвете,
Повстречавшемся в пути
Своего двадцатилетья
С примечанием к шести.
Было рано, очень рано —
То ли сказка, то ли быль —
В этот час, наверно, Яну
Снились лодка и мотыль.
Леоновичу — Калязин,
Диме — розовый баран,
Пароходу «Стенька Разин» —
Безберёзовый Иран...
Осуждёнью поколений
Неподвластны мы уже.
Смелякову снился Левин,
Левину — ЦДКЖ.
И распахивали двери
Позабывшие друзья.
Дай мне, Господи, поверить,
Что кому-то снился я.
Вынь отравленные стрелы
Из колчана моего,
Дай сработать на экстремум,
Не уробив никого.
Зрелость. Скоро грянет зрелость.
Ни дождя, ни ветерка...

Смотрит вдаль окаменелость
Санатория ЦК.

Я сказал то, чего, наверное, другие не скажут, но я сказал то, что хотел сказать. И, слава Богу, я говорю это с любовью и с вечной памятью о великом человеке Григории Михайловиче Левине.

МЫ И ОНИ

*Из статьи «Землёй и верой».
«Дружба народов», №5-6, 1992*

О ЛИТЕРАТУРНОМ объединении «Магистраль» надо писать отдельно. Написано о кухне, написано о площади... «Магистраль» не была ни площадью, ни кухней, но уж точно была «побочной управой» несуществующего тайного общества. Да, это была наша «Зелёная лампа» в полицейских сумерках тех лет. То ли смеркается, то ли светает? В конце пятидесятых определённо светало, но тогдашней «Магистральной» я ещё не знал. А попал туда благодаря... доносу своего дядьки: моими стихами занялся райком комсомола, затем они легли на стол писательского генерала В.Н. Ильина, который меня и спровадил к Левину в «Магистраль». Кого же мне благодарить? Выходит, тех, кто бдит.

Благодарить надо Григория Михайловича Левина, возвысившего студию до университета и преподавшего нам современную словесность «во плоти ея». Чем значительнее личность, тем открытее и проще человек. И чем больше он знает, тем интереснее ему в студии. Если Смеляков появлялся в своих секретарьях как чванливый классик, то к нам он приходил поговорить о сокровенном...

Спасибо Вам за тайную свободу —

писала ему Белла Ахмадулина. У нас он освобождался от риторики, даже от страха, который калечил ему стихи. (Академическое издание когда-нибудь это проиллюстрирует.) Я часто думаю о страхе как об эстетической категории. Не так страшно уж самое страшное — как противно. Благодатен Божий страх за близкого человека. Чувство унижительное и чувство возвышающее они смешали...

в деле грабежа и разбоя, именуемых сообразно моменту. Зато у них хватает инстинкта ненавидеть вещи красивые и чистые.

Мы перья белые свои почистим...

Да, я только что вспомнил строчку Беллы Ахмадулиной, где всё это сказано короче и лучше:

Вы безобразны. Дайте мне пройти!

Это из «Сказки о дожде», которую надо бы читать детям. Белла приходила к нам, как праздник и как на праздник. Мы безусловно знали, что она есть оправдание татарского ига, ибо воли в ней и свободы было больше, чем в её замечательных друзьях. Напомнит женщина, что мы мужчины, сказал один из них. Другой – Высоцкий – молился на неё. Мужчинам, впрочем, напоминал он о том же самом...

Можно было дышать, можно было вволю посмеяться, участвуя в пирах и пикировках Аронов – Гиленко – Левин – Забелышинский – Юра Смирнов – Хмара – кто ещё? Жаль, что не мы – жаль что они были памятьливее нас... Да что они привязались?!

О, «Магистраль» – великая держава,
И из неё в литературный мир
Ушли Войнович, Храмов, Окуджава,
Гомер, Овидий и Вильям Шекспир!..

В печать эти строчки Павла Хмары прошли с Куняевым вместо непечатного Войновича, так что не грех процитировать их в оригинале. Пародии Хмары перекликались с новомировскими памфлетами Наталии Ильиной, хороня тяжёлых временщиков типа Грибачёва и Софронова. «Магистраль» недаром обитала в ЦДКЖ на площади Трёх вокзалов: приезжали сюда отовсюду, ото всех краин... Именно краин. Особая благодарность Левину, харьковчанину, за волшебный этот призывок украинской речи, украинской культуры. За Тычину, Сосюру, за Шевченко с его невероятной, невозможной в те годы свободой и перевернутым миром, где царь воли увенчан был клеймом раба и брошен за решётку... За Кульчицкого и Когана, Отраду и Слуцкого. Когда появлялся Борис Чичибабин – худющий, в долгополом вытертом пальто, с голосом,

севшим раз навсегда, — зелёная лампа начинала искрить особым образом.

Ты неистовая моя — хвала и ругань —
перелистываемая рукою друга...

Сколько искренних, сколько правдивых людей не дотягивают до исповеди! Какая-то подлая оглядка всё портит. Чичибабин исповедуетея в каждом стихотворении — будучи до мозга костей русским путаником, живым и отзывчивым на всё живое, врагом течений и порочной в корне «общей мечты» (Боратынский). Это юродивый на площади, которому и Пушкин завидует. Системе нашей он страшно противоположен — вольница, экстремист, сотрясающий решётки, до которых не принято и касаться.

И я такой же праведник в родню, —
холопшей кожи сроду не сменю...

Почему у других не выходит исповеди? Видно, потому, что они тянутся к внешней и нынешним миром обусловленной правде. Движение безнадежное... Ребёнок говорит сразу — как вспыхивает строка...

Нас прикрыли году в 68-м, кажется, по доносу нашего «товарища», чьим именем не хочется марать бумагу. Господи Боже мой! Как тяжело было смотреть на Григория Михайловича — его так перевернула эта подлость, это горе, будто убили или отняли у него единственное дитя. Да так оно и было. В деле о роспуске «Магистрала» фигурировали «известные своей пошлостью и безыдейностью песенки Окуджавы» и «порнографическая поэма» вашего покорного автора (о том, как солдаты ночуют в бараке у торфушек,

Кровати бедные разбросаны,
колючий стосвечовый свет
и ослепительные простыни —
как будто март, как будто снег...

Я же говорил, что они ненавидят всё чистое! Оно же было внутри предосудительного того положения, когда и т.п.). И всё же — простите меня, Григорий Михайлович!..

Содружество, открытое для всех

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ВИНИТИ тихо переговариваются полтора десятка собравшихся. До сих пор меня окружали ровесники. Школа да Менделеевский институт — вот и весь мой жизненный опыт. А здесь — самый разнообразный букет возрастов, покорных поэзии, а как выяснится позже, и самых разных профессий: библиотекарь и военный, редактор и слесарь, а ещё девушка-скульптор, а ещё «свой парень» — балагур и походник (он пока ничего не пишет, лишь прислушивается, приглядывается, копит силы...). По прошествии получаса, когда по академическим канонам пора бы и расходиться, в зале возникает оживление: «Шеф приехал!»

Посмотрим... Вот он входит с загипсованной рукой на перевязи, с рассыпанными седыми волосами, не просто взволнованный, а прямо-таки всклокоченный! С места в карьер полтора часа говорит о Тютчеве с горячностью оратора-проповедника, упоённо цитируя, и это захватывает. Потом слово предоставляется мне. Собравшись с духом, начинаю — и меня слушают. Дочитываю — и это обсуждается. Познаю демократию на собственной шкуре: каждый говорит о моих стихах всё, что хочет сказать он, а не то, что хотел бы услышать я. Это невыносимо. Нет привычки. А откуда ей быть? Постепенно понимаю, что кажущаяся разношёрстность окружающих меня людей оборачивается многообразием опытов и мнений, ибо судят обо мне не просто пятнадцать пишущих душ, а пятнадцать мировосприятий в трёх поколениях!

Левин пишет, зажав ручку в горсти, стеснённой гипсом. Что он пишет — загадка, а вот что он обо мне думает — становится достоянием всех. Студийная стихия — это предгрозовое напряже-

ние во время чтения, разряды мнений при обсуждении и затишье после бури, когда все идет к метро одной гурьбой, не оставив на сердце зла.

Павел Антокольский сказал когда-то: «“Магистраль” напоминает мне студию Вахтангова».

Взыскательность и доброе отношение друг к другу — традиционная черта студийцев. Наверное, за сорок лет было всякое: и личная неприязнь, и обиды, и принципиальные расхождения — коллектив без этого немислим. Но не это определяло работу студии. Если бы возобладало взаимное отчуждение, то «Магистраль» не продержалась бы и четырёх лет. Ясно, как много зависело тут от Левина: студия — дело всей его жизни. Но вместе с тем в коллективе всегда находились люди, само присутствие которых оказывалось благотворным. Все мы помним Нору Ясельман — автора глубоко пережитой прозы. Родители Норы по заданию Коминтерна работали в Южной Америке. Отец был одним из основателей компартии Аргентины. Во время военного переворота отца и мать арестовали. Нора родилась в тюрьме. Это наложило трагическую печать на всю её судьбу. Но как стойко переносила она недуги! С какой деликатностью относилась к товарищам, к их литературной работе, как жило в ней и передавалось другим чувство содружества магистральцев, любви к ним, ощущение духовной общности!

Судьба Софьи Петренко — отгиск судьбы нашего Отечества. В 20-е годы она — сирота, беспризорница. Отец погиб на Гражданской войне, мать умерла от тифа. Детский дом. Учёба в электротехникуме. Магнитка. Донбасс — первая женщина-электротехник на шахте «Софья»... Потом война. Служба в Военно-воздушной академии имени Жуковского. А вместе с этим стихи, рассказы, книги...

Время не благоволило к литературной судьбе магистральца Владимира Леоновича. От первой до второй его книги прошли многие годы. Но именно тогда Леонович сделал фактом русской культуры многое из поэтического наследия грузинского поэта Галактиона Табидзе. Сегодня эти совершенные переводы стоят в одном ряду со всем лучшим, что связывает грузинскую и русскую литературу. «Благоволение времени» формирует биографию, «неблаговоление» — судьбу.

Участие в работе студии таких людей, как бывшая типографская рабочая Нина Саницкая, про которую можно сказать: поэт милостью Божьей — книжечку её стихов я бы поставил среди образцов современной русской лирики, или Галя Китаева, до дна высветившая душу трагическими стихами о девочке, затерянной в иноязычной толпе прокажённого азиатского базара, или Инга Бессер, представляющая в «Магистралах» гвардию бескорыстных любителей литературы — их участие создаёт обстановку, в которой поверяется не только профессиональный уровень студийцев, но и чистота их помыслов, подлинность произносимого слова.

Оценивая уроки минувших лет, много ныне говорят о воспитании творческой личности — граждански раскованной, самостоятельно мыслящей. Но личность воспитывается в деле, а что как не литература и есть то живое дело, которое способно развивать личность, особенно если пишущий работает в среде, остро реагирующей на всё совершаемое? Такая среда — литературная студия. За сорок лет существования «Магистралах» через неё прошли тысячи людей. Именно магистральцы понесли в жизнь песни своего товарища по студии Булата Окуджавы, поняли и приняли поэзию Арсения Тарковского ещё до выхода его первой книги. И если не все студийцы стали писателями, что понятно: талант — редкость, то наверняка все они стали хорошими читателями. В этом, по-моему, и состоит общекультурное значение «Магистралах». Это содружество, открытое для всех, невзирая на степень дарования. Тридцать стихотворцев, выступающих на вечере студии, который длится три часа без перерыва, не выдумка, а норма. Иногда сами магистральцы стонут от такого безграничного демократизма Левина. Но он считает своим долгом предоставить слово всем желающим — пусть в ущерб стройности вечера, пусть ценой того, что вечер уже не держится на плаву, а тонет, как переполненный корабль... Важно, чтобы выступили все!

Помню, как встречи в конференц-зале ВИНТИ с участием известнейших поэтов одно время неизменно открывал ведомый только нам Анатолий Сельдешов. Щупленький, седобородый, он писал стихи «под Вознесенского», будучи лет на пятнадцать его старше. Это выглядело очень курьёзно. Между прочим, Сельдешов рассказывал нам, что он был последним советским офицером, которого

видел Гитлер. Однажды фюрер «великой Германии» покинул свой бункер, чтобы подышать свежим воздухом. Тут он и увидел Сельдешова... Можно себе представить, каким пленцом был наш поэт в 45-м! Верно, этого «видения» Адольф и не выдержал...

А на сцене сменяются авторы. Левин из президиума непрерывно рассылает какие-то записки и ведёт затяжную борьбу с председателем (Михаилом Матусовским, или Маргаритой Алигер, или Фазилем Искандером), меняя списки выступающих и всё более их расширяя... Кто-то у микрофона забыл слова — ему подсказываю прямо из зала... Дважды перестраивается одна и та же гитара: то на семиструнный лад, то на шестиструнный... В общем, идет типично левинский вечер. «Магистраль» действует.

Когда я думаю о том, что поддерживает в 70-летнем поэте потребность заниматься со студийцами, возиться со многими из них — в доме у него постоянно народ, а звонки в дверь чередуются с телефонными, — то, по-моему, разгадка состоит в желании открывать новые таланты, которыми не скудеет русская земля, не упустить их, вовремя подхватить, дать им крылья.

Талант открыть —
как снова полюбить,
как надышаться ветром и зарёю, —

сказано в книге Григория Левина «Мы вами будем».

Всякий, кто хоть однажды бывал у него в доме, запомнил, как там властвуют книги. Ими до предела заполнена прихожая. А из кабинета выползают газеты подобно тесту из перегретой квашни. Кабинет не просто заставлен книгами, он ими заложен, забит, почти забаррикадирован. При этом хозяин знает, а то и помнит наизусть несметное множество русских стихов, легко цитирует по-украински, вообще всё лучшее, что есть в мировой литературе, находится в его полном распоряжении. Тут он как рыба в воде. Отменный вкус и громадный опыт книголюбия служат ему верными лоцманами в рукописном и книжном море. Но он не только открывает дарования, а и следит за их развитием, переживает, если способности размениваются, уступая натиску жизненных обстоятельств. В двадцать лет — все гении, в тридцать — все таланты, в сорок выясняется, кто есть кто.

И ещё. Начинающие авторы ищут знакомства с уже известными, с теми, чьим мнением они особенно дорожат. В студии познакомиться с любимым поэтом или писателем естественно и легко. Пусть это знакомство не получит развития, но даже единственная встреча, ненароком оброненное доброе слово могут окрылить, вселить силы. По себе знаю, как горький осадок от очередной «сокрушительной» рецензии постепенно тает после одобрительного письма Тарковского, или после того, как в доме «у кирпичного заводика» Окуджава прочтёт десяток твоих стихотворений, разложит их на две кучки, и счёт окажется 7:3 в пользу «Магистрала», или как в ответ на извинения Левина, что шумная компания так долго не может найти квартиру, где бы притулиться, Фазиль с улыбкой скажет: «Если Алёша будет петь, то это всё искупит». Конечно, скажет полушутя, но именно такие звёздочки внимания, вспыхивавшие как бы мимоходом, и помогали выстоять, пополняя небесконечный запас терпения и надежды.

1988 г.

ДАНЬ СЕРДЦА

Виктор Забелышинский

** * **

*Как мало он издал своих стихов.
Чтоб голос наш не оставался эхом!
Всегда успех своих учеников
Предпочитал он
собственным успехам.
Всё это наша память измеряет
И сохраняют сердца тайники...
Учитель никогда не умирает,
Пока живут его ученики...*

Александр Юдахин

Магистралец

Светлов сказал: «Григорий Левин рад
раздать стократ весь валидол аптечки.
Он энергичен, как француз Марат,
на русский лад воспитанный в местечке!»
Он может вам с Памира позвонить:
мол, через час придёт на день рожденья!
А может и Шекспира заманить
и обсудить на литобъединеньи.
Пусть знает свет, что он в расцвете лет
жил без монеты, как при коммунизме,
что «Магистрали» подарил поэт
большую часть своей бессмертной жизни...
Он на строке ненужной нас ловил,
бывало — незаслуженно хвалил,
зато в цейтноте после потепленья
всех магистральцев вслух благословил
на чувство локтя и долготерпенья!
Чего на нашем месте говорить?
Пора на деле проявить заботу:
давно по чести надо оценить
его необходимую работу!
А если не поймёте по добру,
я в ту же ночь, близ ресторанной службы,
у проходимца молча отберу
для юбиляра нужный Орден Дружбы!

1992

Павел Хмара

Немедленно принять!

*Григорий Левин, «магистр»
литобъединения «Магистраль»*

Когда бы жизнь растрчивать впустую
Поэтам было б хоть немного жаль, —
Они бы песнь сложили неземную
Про литобъединенье «Магистраль»!
О, «Магистраль»! — великая держава,
И из неё в литературный мир
Ушли Войнович, Храмов, Окуджава,
Гомер, Овидий и Вильям Шекспир!
И я теперь уже уверен в этом,
Я в этой мысли затвердел, как сталь!
Когда поэт становится ПОЭТОМ?
Когда его признает «Магистраль»!
Вы с этим спорить станете едва ли:
Поэтам «Магистраль» — вторая мать...
А был ли Пушкин членом «Магистрالی»?
Какой позор! Немедленно принять!

Владимир Леванский
Владимир Леонович
Ян Гольцман

Сонет-перёкрестих

Григорий Левин в царстве кни**Г**
Р-**Р**ычит и предаёт позо**Р**у
Иуд. **И** знает учен**И**к:
Гри**Г**орий равен Свято**Г**ору.

Он гром**О**вержец, б**О**льшевик,
Ровесник **Р**усских **Р**еволюций.
И, как Конфуц**И**й **И**ли Муций,
Юдоль земну**Ю** в тяжкий миг

Лажал, **Л**юбя **Л**итературу.
Едал то хл**Е**б, то хр**Е**н. Постиг
Враждебных **В**ыродко**В** натуру
И бил в набат. **И** тем вел**И**к.

Но не топтал гига**Н**т газо**Н**у –
Уж он не ведал в том резон**У**!

Ольга Наровчатова

Впечатление

Взбегая по лестнице шаткой,
В то время, которого нет,
Катался на детской площадке
По льду вдохновенный Поэт.

Пальто на лету не держалось,
Срываясь с петель и крючков,
Сияние звёзд отражалось
В блистающих стеклах очков.

Талантливо руки взлетели,
И замер почтительно двор,
Как будто бы править метелью
Явился большой дирижёр.

А следом катились подростки,
Володя катился и я,
И было неслыханно просто
Дышать красотой Бытия.

Не выдержав радостной сцены
И прочих московских забот,
Невидимо дрогнули стены
Незримых Ильинских ворот.

...Григорий Михайлович Левин
Несётся по льду под луной...
И это моё впечатленье
Пребудет до гроба со мной.

1967

Вера Николаева

* * *

Где-то в высотном доме,
В клетке из книжных полок
Бьётся седыми крылами
Большая мудрая птица,
Раненная в пути.

Белыми были ночи,
Чёрными дни казались...
У птицы связаны крылья,
И только синее пёрышко
Билось, как жилка в виске.

К этой высокой клетке
Слетались малые птахи,
Жадно клевали зёрна,
Слушали мудрые речи.
Стыла на перьях кровь.

А после в небо взлетали
Уверенно и победно.
И долго им вслед глядела
Седая мудрая птица,
И синее ныло перо.

Но все заживают раны...
Из книжного плена клетки
Рванулась на волю птица!
А крылья тяжёлыми стали -
Других — не себя поднять...

Елена Надеина

Храм

Ты для меня — как светлый храм,
Вдали стоящий на пригорке.
За этот храм — я всё отдам,
Но никогда не будет горько.

В нём все прекрасно —
 как в тебе:
И милосердие, и нежность,
И вызов, брошенный судьбе,
И мысли взлёт, и неизбежность.

Светлеют в небе купола,
Стоишь — прямой, в рубахе белой
Касаясь твоего чела,
Стрижи мелькают ошалело...

Здесь, в этом храме, так поют,
Сердца с такою страстью бьются!
Здесь беззаветно слёзы льют
И безбоязненно смеются.

Алексей Смирнов

АВГУСТ

Минует день. В тени уснёт река.
Пройдёт беда, и возвратится радость.
Пушай плывёт над нами добрый август,
издалека плывёт, издалека.
Мы чтим его. Мы ветвь ему зажжём.
Не часто нам случается встречаться.
Мы не гадаем, что такое счастье,
мы просто полночь нашу бережём.

Взлетают искры, кружится зола.
Наверно, каждым это пережито,
когда полей серебряное жито
пересекает, падая, звезда.
И над равниной, светом залитой,
она как неба первое причастье...
Мы не гадаем, что такое счастье,
мы просто след уловим за рекой...

Шумит огонь, и птицей темнота
взмывает вверх потоки алой пыли.
И всё ж сказать отважимся: «Мы были
с тобою, август, счастливы всегда.
Над нами пусть всегда она парит —
твоя душа, ведь это в нашей власти...
Мы не гадаем, что такое счастье,
мы просто смотрим, как огонь горит...»

Нина Бялосинская

* * *

Учусь у дудочки старинной,
у древней палочки бузинной.
Влекусь на безыскусный зов.
Семь дырочек,
семь долгих гласных,
семь простодушных, полновластных
не знающих полутонов.
И длится голос изначальный,
великодушный и печальный,
плывёт.

А я на берегу
Душой смирившейся, повинной
учусь у дудочки старинной.
И научиться не могу.

Екатерина Михайлова

1

Каждый день – стихотворенье,
Каждый день – событие:
Для ума – приобретение,
Для души – открытие.

Только мы проходим мимо,
Не стараемся понять:
Что здесь зримо, что незримо,
Что здесь песней может стать.

2

Нам сражаться в жизни
Не с волшебным змеем –
Ненасытным, страшным,
О семи главах.
Ждут нас испытанья
В жизни посложнее.
Победит отважный,
Поборовший страх.

Виктор Гиленко

Лесной сучок

Я принёс
Удивительный сучок:
Острый нос,
Выразительный зрачок,
Хохолочек колкий,
Шея как стрела...
Укрепил его на ёлке
У стола.
Свечи ёлочные тают
В тишине...
Птичий профиль возникает
На стене.
У сучка недвижна шея,
Тих зрачок.
Только слышу вдруг:
– Уже я
Не сучок.
Ты во мне
Живую птицу
Разглядел.
Мне на ветке не сидится.
Столько дел!
Песни петь хочу я,
Гнёзда вить,
Детей растить.
А без крыльев –
Мне и песен
Не сложить.
И зовёт меня

Высокий небосвод,
Ширь лесная,
Воля вольная
Зовёт.
Над лесами, над долами —
Свет зари...
Одари меня крылами,
Одари!.. —
Клюв открытый,
Чёрный мечется зрачок.
Говорю я:
— Да сиди ты:
Ты — сучок!.. —
Стеариновое пламя
Ворожит.
Острый профиль
Наклоняется,
Дрожит.
И не спится мне,
Не спится —
Тяжко мне:
Умирает, бьётся птица
В тишине.
Бьётся молча и бессильно,
Гаснет взор, —
Вместо ветки этой пыльной
Синь-простор,
Солнце, поле, речка-змейка,
Птичий грай...
Подобрал —
Теперь сумей-ка —
Крылья дай.

Владимир Бекетов

* * *

От семи до девяти
Чушь пороть и дичь нести
И стихи читать по кругу
После шумной болтовни
Приходили.

 Как друг другу
Родовались мы в те дни!

Проба голоса, учёба,
Время увлечений, трéпа,
Озарений, чепухи
И щенячьего задора,
Когда дивные стихи
Промелькнуть могли средь вздора

Малый зал ЦДКЖ.
Время начинать уже.
Входит мудрый и лукавый
Мэтр.

 Как шорох ветерка,
Затихает вся орава
Бойкого молодняка.

Это было в прошлом веке.
Заметают белы снеги
Площадь около дворца,
Где настойчиво и грустно
Ментор пестовал в юнцах
Кульٹ словесного искусства.
Но года свели на нет

Молодости светлый бред,
Возносивший нас, бывало.
После множества потерь
Лишь Валера, Люся, Алла
В поле зрения теперь.

Что ж, событий резкий ветер
И напор десятилетий
Разметали нас, как прах.
Память лишь не исчезает,
И улыбка на губах
Непрерывно оживает,

Если иногда пройду
Мимо клуба...

* * *

Осень вязнет в мокрой глине.
И ремонт ботинкам нужен.
Что ж, идти мне к дяде Пине,
Тёти Дебиному мужу.

Возле бывшей синагоги
Он с женой живёт в хибаре.
Инвалид войны безногий
Чинит обувь на базаре,

С очередью шутит бойко
И под хохмы с матерками
Лепит к каблукам набойки,
А потом с фронтовиками

(Тот прострелен, тот контужен)
Он сидит за пенной кружкой.

Жизнь его лениво кружит
Между рынком и пивнушкой.

Но, пусть даже хлещет с неба,
Каждый вечер непременно
Дядю Пиню тётя Деба,
Шикером* ругая гневно,

Ташит на себе к хибаре,
Часто по грязи во мраке.
Но всегда он на базаре
Утром в стираной рубахе,

Старенькой, но честь по чести
Выглаженной и зашитой.
Сколько мужиков без вести
Сгинуло или убито...

Мучили, как всех, сурово
Тётю Дебу беды века.
Но завидуют ей вдовы:
«Ведь живой, хоть и калека».

Стопкой усмирят похмелье
С разрешения супруги
И вощёной дратвой, клеём
Безотказно всей округе

Обувь лечит в зной и стужу.
Потому у всех в почёте.
И была б эпоха хуже,
Если б он погиб на фронте.

*Шикер (идиш) – пьяница.

Зажжёт огонь у дальнего предела
И в добрый путь помашет у ворот.
А за окном рябина облетела,
И серый день над крышами встаёт.

У памятника жертвам геноцида

Ряды колонн расплавлены закатом.
И душен мир. И тягостен покой.
И след огня навеки отпечатан,
Как тяжкий крест на совести людской
И в скорбный час вечернего молчанья
Я только зубы стискиваю вновь.
Я никому на свете не прощаю —
Во мне струится смешанная кровь.

Николай Фомичев

Арийская культура

Попал я в лагерь из тюрьмы —
В такой,
Где комендант
Стал неплохим поэтом:
Рифмует он
Ладонь с моей щекой
И звучной рифмой
Хвалится при этом.

Танцоры, преуспевшие вполне,
Достигшие заслуженного ранга,
Умеют вытанцовывать на мне
И румбу,
И фокстрот,
И даже танго.

Художники —
От пояса до плеч
Мне кистью-плетью расписали спину
Так, что её хочу я приберечь
Для выставки,
Как лучшую картину...

А русские,
Невежды все подряд,
Фашистов быют,
На запад гонят сдуру.
Вот варвары!
Наверное, хотят
Разрушить
Всю «арийскую культуру»!

До жути больно, что такое слово
Живёт на самых разных языках.
Я в горсти их собрать готова
И задушить в зажатых кулаках,

И вычеркнуть из всех энциклопедий,
Учебников и разных словарей.
Сегодня тоже маленькие дети
В войну играют...

Яков Тверской

* * *

Дети сорок шестого,
Послевоенные первенцы,
Нами отцы суровые
Отогревали сердце.
С нами, детьми сорок шестого,
Их верой, надеждой, силой
«Мир» — полузабытое слово
Уверенно в жизнь входило.

Сабина Забелышинская

* * *

Зачем в весне — рождение осени?
Зачем душе радение просини?
И ходят люди воздушно-лёгкие,
Близкие-близкие и далёкие.

То видятся редко, то видятся часто.
Так, может быть,
в этом и кроется счастье?
В разлуке хранить
нерастроченной нежность
И знать, что секундами
меряют вечность.

Сердце своё без остатка отдать?
Но всё-таки сколько ещё
не понять...

Сэда Вермишева

* * *

Мне надоело
Кланяться прохожим,
Украшившись смиреньем ложным.
И подставлять себя рогам,
И заикаться по слогам,
Молчать
(В который раз по счёту!),
Когда на глотку наступили,
И делать всякую работу,
В рукав запихивая крылья.

Но с каждым днём трезвее,
Твёрже,
Строже,
Я познаю свой долг —
Свой долг,
А не права.
И я смиренно кланяюсь прохожим,
Запихивая крылья в рукава...

* * *

Мне нужно только быть,
Не слыть.
Не раздаваться в каждом ухе
Как звон пустой.
Мне камертон —
Колоколов литые звуки.

Мне тишина — судья.
Её нарушить
Я права попрошу у тех,
Кто научился сердцем слушать
Вселенной целой
Плач
И смех...

Галина Осинина

* * *

Яблоня протягивает ветку,
Яблоки коричные даря.
Что от жизни надо человеку
В ясный день начала сентября?

Я живу не будущим, не прошлым.
Я сегодня всем живым родня:
Георгинам, так усердно росшим
Ради лишь сегодняшнего дня,

Мотыльку, которому нет дела,
Что сегодня наступает срок.
Только вот берёзка пожелтела,
Первая переступив порог.

Наум Шварц

* * *

Белый снег, надо мной закружи.
Бабье лето ушло и обиделось.
Первый снег — начинается жизнь
Или это мне только привиделось?

Белый снег, мне лыжню проложи,
Проложи мне дороженьки ранние.
Я устал от обмана и лжи,
Сообщи мне второе дыхание.

Белый снег, затумань мне стекло,
Нарисуй мне листочки узорные.
Я дарю своим песням тепло,
Почему же они беспризорные?

Белый снег, затеряйся во ржи,
Обними колоски переспелые,
Закружи ты меня, закружи.
Растворяются хлопья несмелые.

Наталья Никитина

* * *

Ты спаси меня — от меня.
От черноты дня,
От немоты спаси.
Унеси!
От угла спаси —
Дай овал.
Только чтоб не дрожал!
Чтобы — плавлен и вял — лежал.
Солнце дай!
 Не покинь!
Пледом на плечи кинь
Радуг спектры — и синью
Величие дня.
Возврати мне меня.
Возроди!

Леонид Чекалкин

* * *

Запах моря,
запах терпкой хвои,
Влажный дух
погасшего костра.
Мне тепла
хватило бы с лихвою
Посидеть,
подумать до утра.
Мир уснул,
и только птичья стая
Не угомонится
до поры.
Первый луч,
в листву не проникая,
Не осушит
сумрачной коры.
Что ещё напомним
о далёком? —
Резкий свет
оконного огня,
Где живёт
легко и одиноко
Женщина,
любившая
меня.

1970-е гг.

Опять метель

Не помню я, в каком часу,
Какого дня недели
Обрушила свою красу
Вся оторопь метели.
И вот летят, летят снега,
Свои рождая страхи.
Оделись сонные стога
В нательные рубахи.
И, завихряясь на весу,
Сто рукавов метели
Запеленали всё в лесу —
Рябины, сосны, ели.
Не прекращаясь, падал снег,
И даль скрывалась в снеге,
В снег превращался человек
На облучке — в телеге.
И лошадь белая брела —
Одна — по белу свету.
Дорога белою была,
Вела она к рассвету...

* * *

Тревожное небо. Лиловый закат.
Летит облаков протяжённый отряд.
А след самолёта — дымящийся шрам.
И слева — темно, а справа — светлей,
Здесь небо — живёт, оно боли сильней,
Под ним на земле — неразрушенный храм.

А время идёт. Нет — летит напролом,
И где-то в глуши затерялся мой дом,
И, кажется, там меня больше не ждут.
И сад опустел, в нём деревья молчат,
Лишь старые клёны порою ворчат,
И стелется дым и свивается в жгут.

Дымит на костре ядовито листва,
А кисти рябин заметны едва —
Растаял закат, и тут же уверенно ночь
Упрятала звёзды свои в облака.
А как возвращаться — не знаю пока,
И ты мне советом не можешь помочь.

Отвергнуть бы память, и горечь избыть,
И заново рифмы в ночи полюбить,
Как было когда-то, в мои молодые года.
Пока же не вижу весомых причин
Домой возвращаться...

Давай помолчим,
Готовясь проститься с былым навсегда.

Виктор Гончаров

Памяти Г.М. Левина

Были же ландыши?
Были, я знаю.
Вы разве забыли, их не продавали,
А, радуясь маю, их просто дарили.
Но вот наступили
Глухие морозы,
Они погубили
Жасмин и мимозы.
Погибли пионы,
Сирень, незабудки,
Свалили их в кучу
У мусорной будки.
А ландыши те,
Что поэт нам дарил,
Остались живыми
Средь снежных могил.
Они не погибнут,
Они уцелеют,
Такие цветы
Умирать не умеют.

Юлия Резина

* * *

В ничтожности житейских бурь
Одна отрада –
Индиго, кобальт и лазурь
Над охрой сада.
Учусь: легко до райских врат
(ни слёз, ни крика)
В срок золотом взмывает сад
В лазурь, в индиго...

Марина Коржель

* * *

Звон цикады за оградой.

Куст рябины.

Холм из глины.

Крест осины.

Много ли усопшим надо?

Солнышка, дождя и града.

Снегопада, листопада.

Памяти, печали, взгляда...

И покажется: можно взойти
на Парнас,
только надо однажды
на это решиться.

Как зерно, обнажит он поэзии суть,
вдохновенное скажет:
— Дерзайте и смейте!..
И поэты в дорогу с собой унесут
веру в творчество.
Кто-то — в бессмертье.

* * *

«Святое место не бывает пусто...»
О, как ещё бывает — видит Бог.
Как встарь, сошлись мы
и галдим стоусто.
Меж тем святое место пусто —
учитель словно вышел за порог
взглянуть на звезды,
с ними сверить мысли,
чтоб не настиг врасплох
случайный спор.
И нам поверить трудно до сих пор,
что он в такие призван выси,
куда не проникал
ничей доселе взор.

И всё ж, незримый, бестелесный,
с поэзией небесной, как с невестой,

войдёт, займёт святое место.
И станем мы послушны и тихи.
И над столами в комнатушке тесной
земные зацветут пред ним стихи.
И, хоть похвального не скажет слова,
не оградит нас от навета злого,
когда всё – в пух и прах,
как ни кричи,
почувствуем, им призванные снова,
его духовной ауры лучи.

Елена Шувалова

* * *

Григорий Михайлович Левин –
Жизни особый настрой.
Ландыши – ваши, мой – клевер,
Каждый поэт – герой.
Плачут, смеются, как дети,
Сердцем сильны, не умом.
И поэтому многоцветье
Душ и цветов за столом.
Празднуем хлебосольно
Впервые без Вас день рожденья.
Верю –
 укрыла Сольвейг
От страха Вас и сомненья.
Так ослепительно ярко
Свет и Любовь на Дорогу...
Не было в жизнь подарка
Выше, чем встреча с Богом.

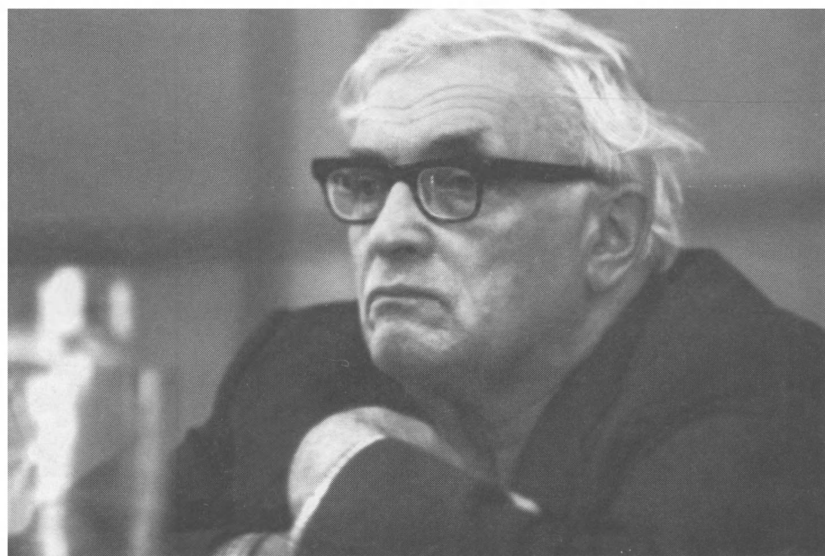
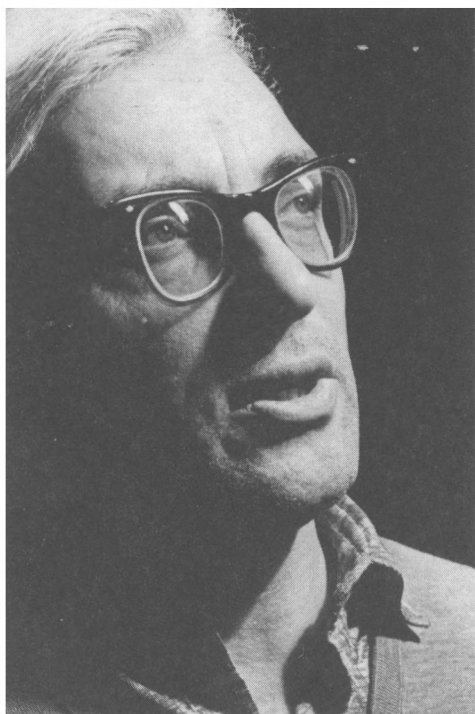
1995

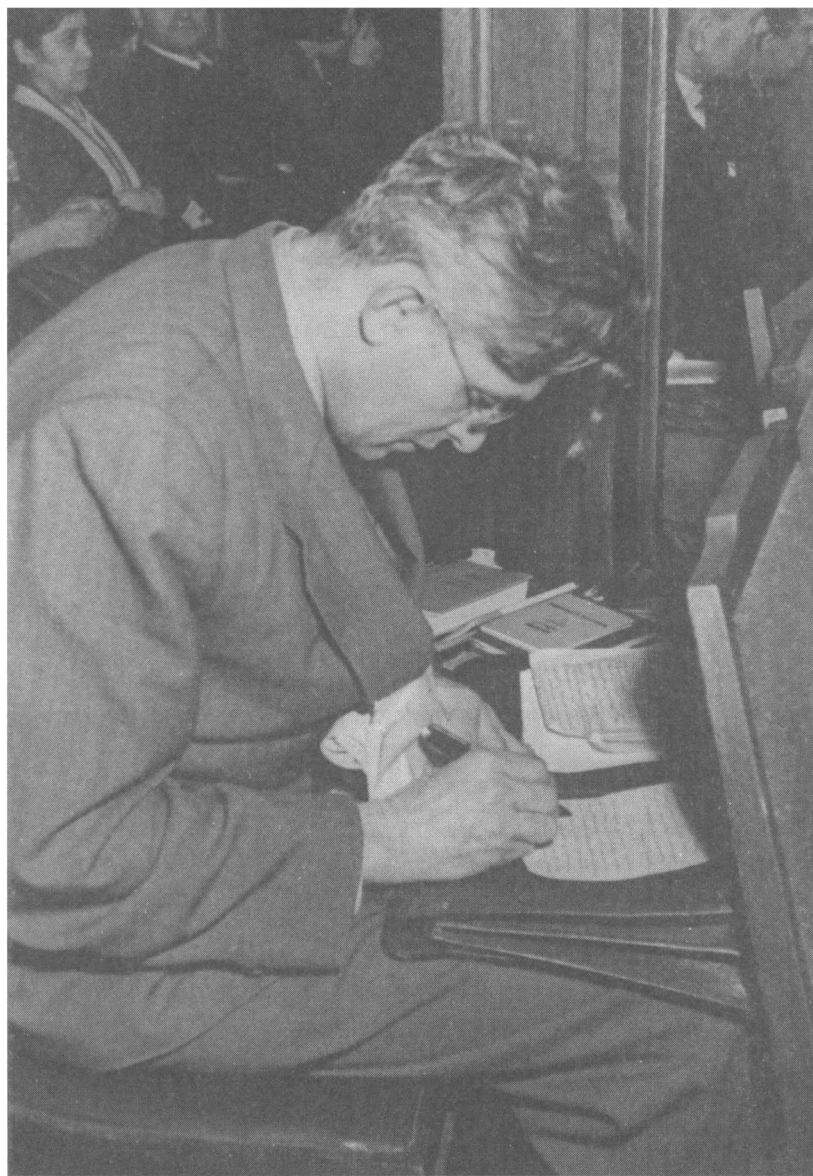
Алла Калмыкова

Учителю

Я никого не хороню —
мы расстаёмся не надолго.
Зарюют, предадут огню —
не затеряется иголка
в стогу небесном, где давно
единой жизни полотно
стежками наших душ расшито
куда и детство вплетено,
и крестик с запахом самшита.
Ничто — и слово ни одно —
у Господа не позабыто,
картины и страницы книг,
Учителя родимый лик,
в который вглядывался годы,
дышал, и думал, и постиг
уроки первые свободы...
Любимые, не надо слёз.
На время запертые в теле,
на время мы осиротели.

Но сколько верных собралось
у гроба — как у колыбели.







«Магистраль» в Кремле



Г. Левин с магистральцами



Юбилейный вечер «Магистрала» в музее А.С. Пушкина. Сидят Н. Пащенко, Г. Левин, Ю. Левитанский, В. Берестов, А. Тарковский

**Рыцарь поэзии.
*Памяти Григория Левина***

**Формат 60x90/16; 168 стр.
Составители *Е. Михайлова, А. Калмыкова*
Оформление и верстка *Е. Тихонов***

**Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6
Заказ 593**